



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [М. Л. Песковский](#)
 -
 - [Введение](#)
 - [Глава I. Детство, юность и время до боевой службы. 1730 – 1758](#)
 - [Глава II. Начало боевой службы и командование полком. 1758 – 1768.](#)
 - [Глава III. Конфедератские войны поляков. 1768 – 1772](#)
 - [Глава IV. Турецкая война. 1773 – 1774.](#)
 - [Глава V. Военно-административная деятельность. 1774 – 1787](#)
 - [Глава VI. Вторая турецкая война. 1787 – 1790](#)
 - [Глава VII. Инженер поневоле. 1791 – 1794](#)
 - [Глава VIII. В польше во время и после войны. 1794 – 1795](#)
 - [Глава IX. Резкие превращения. 1796 – 1799](#)
 - [Глава X. В чужих краях. 1799](#)
 - [Глава XI. Беспрецедентная слава, опала и смерть. 1799 – 1800](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
-

М. Л. Песковский
Александр Васильевич Суворов
Его жизнь и военная деятельность
Биографический очерк
С портретом Суворова, гравированным в
Петербурге К. Адтом



Введение

В ряду русских замечательных людей *Александр Васильевич Суворов* очень резко выделяется во всех отношениях. Особенно ярко и внушительно проявилось это в возвышении Суворова, заурядного русского дворянина, до княжеского достоинства и степени *фельдмаршала* и *генералиссимуса* присвоением ему притом звания “*принца*” и “*царских почестей*”. Такое возвышение произошло наперекор очень сложным неблагоприятным обстоятельствам, преследовавшим Суворова всю жизнь, – *взято с боя*.

Суворов – изумительно *цельный тип* “военного человека” вообще, и буквально *единственный* в мировой истории войн пример *солдата-фельдмаршала-генералиссимуса*. Все личные его качества, свойства, понятия, привычки и потребности – все было тщательно выработано им самим и применено именно к потребностям военного дела, которое – как увидим ниже – с детских лет уже играло первенствующую роль во всей его жизни, руководило им. Всецело увлеченный и поглощенный военным делом, он понимал его очень широко и возвышенно, ставя себе задачей и целью достижение того уровня, на котором стоят величайшие полководцы во всемирной истории. И в его лице мы видим изумительный пример упорства и успеха в преследовании и достижении указанной задачи и цели. Он, при обширном общем развитии и богатом запасе знаний по всевозможным отраслям, обладал еще и энциклопедическими, можно сказать, военными познаниями по всем отраслям, не исключая даже дела морского, инженерного и прочего.

Вообще же Суворов стоял на такой высоте, что немногие не только из русских, но и из западноевропейских генералов того времени могли выдержать с ним сравнение. Это само собою доказывается всею совокупностью деятельности Суворова, его обширнейшею перепискою на всевозможных языках (до итальянского, финского и турецкого включительно) с разнообразными лицами высшего круга в России и за границу по вопросам капитальнейшей важности. Хотя Суворов не получил *дипломного* военного образования, но путем самообразования он не только достиг самого видного и почетного положения в военном отношении, но и занял даже совершенно *уединенное* место во всей истории военного дела. Самостоятельно изучая те же самые исторические образцы, по которым учились и другие, он, однако, под влиянием горячей любви и преданности делу, извлек из этого пользы значительно больше других.

Привнесши в это дело большую долю своей *индивидуальности*, он создал новое “военное искусство”, которое так и прозвано “суворовским”. Сущность его состоит в таком обучении солдат, что они наперед получают определенное понятие о том, что может встретиться им на войне, а равно и о том, как им вести себя в каждом отдельном случае. Это – та именно “*наука побеждать*”, которая обучала солдат только тому, чтобы идти *вперед* и *вперед* (атака и штурм), и из которой, безусловно, было изгнано все, что касается движения назад (отступления).

Он превосходно знал солдатскую душу и безусловно владел и распоряжался ею. Вместе с тем он сам был *первым* и *совершеннейшим* солдатом как живой пример и образец для всего войска. Он был чрезвычайно щедро награжден всеми чисто военными качествами, как-то: настойчивым почином, упорною энергиею, мужеством и личной храбростью, так что невозможно назвать такого военного качества, которым не обладал бы Суворов. Таким образом, по мнению военных специалистов, Суворов в указанном отношении не имел даже образца, так как ни один из величайших полководцев не представлял собою такого “полного и цельного типа военного человека, как Суворов”. Но не это, однако, обстоятельство обособляет Суворова в военной истории как совершенно своеобразный “*самородок*”, а, главным образом, то, что во все время своей военной службы он вел чисто солдатскую жизнь. Он делал это прямодушно, искренне, без всякой задней мысли и цели, именно потому, что вообще не признавал надобности обставлять свою жизнь лучше лагерного образца и находил, что именно солдатская жизнь как нельзя лучше соответствует условиям и потребностям военного человека.

Являясь основателем новой военной школы, Суворов не только прославился на весь мир своею непобедимостью, но и оказал государству очень важные услуги, как в деле усмирения серьезных внутренних смут, так и в отношении расширения территориальных владений. В общем же, значение этих услуг Суворова было так велико, что благодаря именно им политическое значение России разом выросло в глазах Европы. Как только гениальный полководец заставил всю Европу обратить внимание на поразительные успехи русского оружия, в связи и соответствии с этим явственно возрос также и весь политический престиж России.

Что же касается до обаяния самой личности Суворова в Западной Европе, то, помимо необычайной повсеместной его популярности, в некоторых странах, особенно же в Англии и отчасти в Италии, дело прямо-таки доходило до *поклонения* ему.

Короче говоря, и сама по себе личность Суворова как гениальнейшего

из полководцев и его славные подвиги, и военные доблести, имеющие историческое значение для всей Европы, и, наконец, продолжительный (более чем полувековой) период, в который произошло все это, заставляют оглянуться из столетней уже дали на то прошлое, весьма поучительное во всех отношениях.

К удивлению, на исходе целого столетия со дня смерти Суворова мы имеем всего один памятник ему (у Троицкого моста в Петербурге), да притом еще вовсе не соответствующий ни его гению, ни его своеобразной личности, ни его сорокалетней боевой деятельности. Памятник этот, заказанный еще при жизни Суворова, был сооружен в 1801 году по мысли императора Павла, чтобы увековечить этим память о подвигах знаменитого генералиссимуса в Италии и Швейцарии. Художник довольно удачно воплотил в нем идею кампании 1799 года в смысле заступничества русского правительства за разрушенные троны Италии. Русский фельдмаршал-генералиссимус изображен римским воином, прикрывающим своим щитом и мечом пьемонтскую и сардинскую короны и папскую тиару. Но этот памятник, не воплощая в себе целиком фигуры этого колоссальнейшего русского героя, “чудо-богатыря”, равно ничего не дает для национального русского чувства, не заключая в себе и признака чего-нибудь народного, оставляя совершенно свободным место для такого увековечения памяти Суворова, чтобы в нем отразилась признательность отечества за сорокалетнюю защиту его от “внутренних и внешних врагов”. Вместе же с тем в этом увековечении памяти должна сказаться и благодарность России за ту славу, которую он покрыл русское оружие и русское имя.

Наконец, нужно еще иметь в виду, что заслуги Суворова перед отечеством отнюдь не исчерпываются только боевою его деятельностью: напротив, помимо этого даже и современная русская армия очень много обязана гениальному почину Суворова и его упорной самодеятельности гуманными приемами обучения и воспитания войск. К величайшему прискорбию, эта сторона дела очень долго оставалась в тени и чуть не в забвении после смерти Суворова. И только в недавнее время под влиянием печатных трудов некоторых военных специалистов начинают по достоинству оценивать то наследие, которое оставил по себе Суворов всем последующим поколениям.

Лица, наиболее авторитетные в военном отношении, удостоверяют, что “личное присутствие Суворова, даже одно его имя производили на войска чарующее действие”. Они сравнивают это с “талисманом, который довольно развозить по войскам, чтобы победа была обеспечена”...

Таким, в общих чертах, встает перед нами образ Суворова через столетие со дня его смерти. Это в полном смысле славный и заслуженный *русский витязь, богатырь* всем богатырям – по величию духа, по высоте и шире гражданских стремлений и целей...

Глава I. Детство, юность и время до боевой службы. 1730 – 1758

Время и место рождения А. В. Суворова. – Жизнь в родительском доме. – Поступление на военную службу. – Самообразование. – Практическое изучение всего солдатского быта. – Производство в офицеры

Суворов происходит из дворянского рода средней руки по положению и по достатку. Родоначальником же Суворовых был швед Юда Сувор, поселившийся в московской области во время княжения там Семена Гордого. Родился Александр Васильевич в Москве, 30 ноября 1730 года. Он рано лишился матери. Несомненно, однако, что домашнее воспитание его, не менее как до 13 – 14 лет, протекло под непосредственным наблюдением матери, по-видимому, при полнейшем невмешательстве отца, Василия Ивановича, всецело поглощенного хозяйственными делами по своему имению, то есть деятельным и успешным расширением его.

По-видимому, он был недоволен сыном в пору его детства и смотрел на него как на неудачника. У мальчика еще в самом раннем возрасте, едва он стал овладевать простою грамотою, ясно проявилась большая склонность ко всему военному. Отец же, наоборот, решил, что сын его безусловно непригоден для военной службы, так как он был “ростом мал, тощ, плохо сложен и некрасив”. Мальчик же, между тем, в возрасте около 11 лет обнаруживал все большее и большее пристрастие к военному делу, совершенно отстраняясь от дамского сообщества и всячески стараясь уединиться для чтения книг исключительно военного характера.

Обособленность мальчика, страсть к уединению, сосредоточенность не по летам и отдаленные прогулки резко бросались в глаза, а главное – вызывали со стороны отца выговоры, замечания, запрещения и прочее. Мальчик еще более уходил в себя, замыкался в своем внутреннем мире и всецело отдавался излюбленному им военному делу, приобретшему теперь для него особенную прелесть в качестве запрещенного плода.

В эту именно пору Василия Ивановича посетил старинный его приятель, генерал Ганнибал, из негров, питомец Петра Великого. Ввиду жалоб старика Суворова на сына он очень интересовался последним. Переговорив же потом с ним и познакомившись с его книгами, он убедился в серьезной его любви к военному делу. Разъяснив это отцу его, Ганнибал

вместе с тем посоветовал ему не противодействовать стремлениям сына к военному поприщу, а, напротив, – всячески содействовать этому. Когда ему исполнилось 12 лет, он был записан, в 1742 году, в Семеновский полк рядовым; но поступил туда только через три года, когда ему исполнилось 15 лет.

В раннюю пору детства, еще до 11-летнего возраста, Суворов познакомился с некоторыми новыми языками. Этим, равно как и всем вообще первоначальным обучением, он обязан своей матери.

Путем чтения Суворов успел, до поступления в полк (до 15 лет), самостоятельно ознакомиться: с Плутархом, Корнелием, Непотом, с деятельностью Александра Македонского, Цезаря, Аннибала и других наиболее замечательных полководцев, походами Монтекукули, Карла XII, Тюрена, Конде, маршала Саксонского, принца Евгения и многих других. Хотя центром его самообразования была именно военная история, тем не менее он весьма деятельно работал также над пополнением своего общего образования. Историю и географию, например, он изучал по Гюбнеру и Роллену, философию – по Лейбницу и Вольфу.

Со времени первого пробуждения сознания в раннюю детскую пору и буквально до смертного одра Суворов непрерывно был увлечен, всегда и при всех обстоятельствах, *неудержимым стремлением* вперед и вперед. Это стремление объясняется тем, что еще в пору раннего детства, под влиянием счастливого выбора чтения, перед умственным его взором вдруг загорелась заманчиво-яркая и привлекательная *светлая точка*, которая, все ширясь и разгораясь, разрослась, наконец, в определенную *задачу* и *цель* жизни, без которой он вовсе уже не мог жить. Примеры же тех великих людей, деяниями которых он воспитывался, наглядно показывали ему необходимость именно образования как самого могущественного фактора в жизни, открывающего пути к избранной цели и дающего все средства для достижения ее. Вследствие этого, строго говоря, вся его жизнь это – даже и *не жизнь* в общепринятом смысле, а какое-то умственное и нравственное *перегорание* под влиянием военной страсти в непрерывном стремлении к *военной славе...*

Вступив в полк, он сразу сделался *заправским* солдатом. Он с радостью, с увлечением занялся изучением всего того, что кажется другим в солдатской службе тяжелым, грубым, скучным и мелочным. Он с любовью исполнял все обязанности солдата, тяжелые и легкие, изыскивая способы и средства, чтобы как можно больше знакомиться даже и с такими сторонами солдатского житья-бытья, знание которых необязательно. Ему же нужно было все это во имя той великой цели, которая непрерывно

светилась перед ним где-то в бесконечной дали и неудержимо влекла его к себе. В его программу входило и самое тщательное изучение солдатской среды со всеми ее привычками, обычаями, понятиями, верованиями – до самых сокровенных тайн солдатского быта. Вместе с тем он очень вдумчиво изучал воинские уставы и постановления. Живя на вольной квартире, а не в казарме, он, однако, с педантичной точностью и усердием, без малейших упущений нес всю строевую службу, аккуратно бывал на строевых учениях и в караулах, вместе с нижними чинами исполнял все их служебные труды и черные работы.

Короче говоря, он был в полном смысле *образцовым* солдатом во всех отношениях, так что лучше даже самых крепких здоровяков переносил всевозможные лишения, усталость, голод, холод и прочее. Он явно отличался от других солдат молодцеватым, изящным видом и обращал на себя внимание. Так, например, императрица Елизавета Петровна заметила его, когда он стоял на часах у Монплезира, в Петергофе. Проходя мимо, императрица спросила, как его зовут. Услыхав, что он – сын Василия Ивановича, которого она знала, вынула рубль с намерением отдать его Суворову. Но тот отказался, сказав, что по уставу караульный не имеет права брать денег. Императрица похвалила его за “знание службы”, потрепала по щеке, дала ему поцеловать свою руку и положила рубль на землю, сказав: “как сменишься, так возьми”. Суворов всю жизнь хранил эту монету.

Разносторонне изучая военное дело, он вместе с тем усиленно работал для пополнения и расширения общего образования. Насколько известно, он посещал лекции кадетского корпуса. Но главным образовательным средством его были самостоятельные, домашние научные занятия, частью при помощи покупаемых книг, в большинстве же случаев – посредством книг, добываемых на стороне: в полку, в кадетском корпусе – словом, где только была хоть какая-нибудь к этому возможность.

Эта работа была так упорна, что во все время пребывания в полку Суворов решительно нигде не бывал кроме корпуса и службы, посвящая весь отдых самообразованию у себя на дому. В результате такой самодеятельности оказалось, что ко времени наступления 20-летнего возраста он обладал уже таким прочным, обширным, разносторонним образованием, какого не могло дать ему ни одно из существовавших тогда учебных заведений, – никто, и ничто, кроме личной его доброй воли. Помимо общеобразовательных предметов основательно была изучена также и Библия, весь цикл церковных служб, весь церковный обиход.

Солдатскую лямку Суворов тянул чуть не десять лет (с 1745 года по 15

апреля 1754 года), когда он, наконец, был произведен в офицеры. Ему было тогда уже около 25 лет. Дворянские же дети в то время легко достигали к такому возрасту генеральских чинов. Несомненно, что и Суворов несравненно раньше мог бы быть произведен в офицеры, если бы желал этого, тем более, что с первых же дней своей солдатской службы он был на самом лучшем счету, и ему давались обыкновенно весьма серьезные и важные поручения. По личному его удостоверению он, “состоя в унтер-офицерских чинах, исправлял разные должности и трудные посылки”. Произведенный в 1751 году в сержанты, он был послан в 1752 году в Дрезден и Вену с депешами, где и пробыл более полугода (с марта по октябрь).

Продолжительное пребывание Суворова солдатом было делом личного его желания, вполне отвечало его намерениям – детальнейшим образом изведать личным своим опытом все то, что приходится делать солдату, помимо прямых его обязанностей. Понятно, что никакие учебные заведения, никакие книги не могли заменить ему в этом отношении личного опыта. И, познакомившись с делом не поверхностно, а по существу, Суворов *открыл* в русских солдатах драгоценнейшие качества души и так искренне полюбил их, так задушевно привязался к ним, что всю жизнь, буквально до гробовой доски, остался верен *солдатскому режиму*, который он, именно во имя *полного и органического единения с войском* и слияния с ним, прямо-таки *впитал в плоть и кровь* свою. Вот почему Суворов-капрал и Суворов-непобедимый генералиссимус — все-таки оставался одним и тем же *солдатом*, так как ему всегда одинаково были близки и дороги солдатские интересы, тяготы, скорби и нужды.

Вот почему Суворов всегда, при всех обстоятельствах, относился к солдатам не как к бессловесному стаду, а как к разумным существам, – и вдохновлял их, руководил ими, так что каждый из них действовал сознательно, понимая, что, почему и для чего он делает. Суворов был великим педагогом-психологом. Являясь в этом отношении *первым* в ряду величайших полководцев, Суворов и до настоящего времени остается *единственным*.

После производства в офицеры Суворов был переведен поручиком из Семеновского полка в Ингерманландский пехотный. Но вскоре же (в январе 1756 года) его повысили в обер-провиантмейстеры и послали в Новгород; в октябре того же года сделали генерал-аудитор-лейтенантом с “состоянием” при военной коллегии: в декабре переименовали в премьер-майоры. Этот перечень, между прочим, доказывает, что Суворов, подшучивая над своим запоздалым производством в офицеры, справедливо говаривал: “я не

прыгал смолоду, зато прыгаю теперь”. Эти “прыжки” в заслугах вскоре же сделались прямо-таки гигантскими, так что он не только быстро наверстал упущенное в чинопроизводстве, но и далеко обогнал длинный ряд лиц, которые при производстве его в офицеры были в генеральских чинах.

Еще деятельнее чем прежде продолжал Суворов свое самообразование и развитие после производства в офицеры. Вообще истории и литературе он всегда отводил самое почетное место и прекрасно знал произведения всех выдающихся писателей как русских, так и иностранных, насколько этого можно было достигнуть по обстоятельствам того времени. Но он не только очень много читал, вообще внимательно следил за тем, что совершается в жизни, а также и довольно успешно пробовал писать. Два его литературных труда, так называемые “Разговоры в царстве мертвых” (излюбленная форма того времени), помещены в 1756 году в первом русском журнале, издававшемся при Академии наук под названием “Ежемесячные сочинения” в “Обществе любителей русской словесности” при кадетском корпусе, где автору, конечно, пришлось выдержать целый диспут.

Вообще в эту пору у Суворова было значительное знакомство с литературным миром, причем он был довольно близок с Дмитриевым, а с Херасковым – даже и в дружественных отношениях. Эта малозначащая сама по себе черта имеет серьезное значение для оценки самообразования Суворова, представляя своего рода “*аттестат зрелости*”. Самоучка Суворов стоял с названными литераторами на одном уровне, был равен им по развитию и литературной подготовке.

Глава II. Начало боевой службы и командование полком. 1758 – 1768.

Семилетняя война и армия союзников. – Участие Суворова в этой войне и отзывы о нем. – Доставка им депеш Екатерине II. – Назначение его полковником и полковым командиром. – Деятельность как командира

Время вступления Суворова на боевое поприще было очень смутным. Это так называемая семилетняя война, которую вела общеевропейская коалиция (Австрия, Франция, Швеция, Саксония, Польша, большая часть германских князей, а затем присоединилась и Россия) против маленькой Пруссии, только в начале XVIII века добившейся статуса королевства. Эта война представляла невообразимо-пеструю смесь разнообразных национальностей, а равно и поразительное несоответствие, с одной стороны, такого блестящего военного дарования как Фридрих Великий, с другой – повальной бездарности почти всех полководцев союзной армии. В этой войне и пришлось Суворову начать свое боевое поприще.

Он сам добивался назначения в действующую армию, и в 1759 году в чине подполковника был назначен к генерал-аншефу (полному генералу) графу Фермору по штабной части (вроде начальника штаба, которого, однако, тогда вовсе у нас еще не было). Таким образом, перед ним был открыт весь ход войны, все ее рычаги и пружины, – и ему представилась глубоко печальная и возмутительная картина. Армию союзников разъединял раздор, полное отсутствие даже намека на солидарность и желание действовать заодно. Все вообще военачальники вовсе не умели пользоваться своими победами. Если даже кому-нибудь из них и случалось одержать более или менее значительную победу, – дело обыкновенно оканчивалось тем, что одержавший победу или оставался на занимаемом им месте, или даже отступал, обыкновенно крайне беспорядочно, так что потери при отступлениях превышали иногда даже потери от самых жестоких поражений. Что же касается собственно русской армии, то, если она и одерживала победы, это исключительно обуславливалось природною храбростью русских солдат, но отнюдь не деятельностью военачальников.

Первое дело, происходившее в июле 1759 года на глазах только что прибывшего в армию Суворова, заключалось в занятии Кроссена (в Силезии). Затем в августе произошло жесточайшее сражение при

Кунерсдорфе, – первое, в котором пришлось участвовать Суворову. Это было в полном смысле *побоище* соеих сторон. Фридрих, не зная, что у союзников армия состояла из 80 тысяч человек, бросился на нее с армией в 48 тысяч человек и был сильно разбит, так что и сам едва не попал в плен. С обеих сторон – около 35 тысяч человек раненых и убитых. Судьба Пруссии была, таким образом, в руках главнокомандующего русской армией Салтыкова, назначенного за отказом Фермера, бывшего до этого главнокомандующим. Но Салтыков бездействовал и затем отступил. Удивленный этим Суворов сказал Фермору: “На месте главнокомандующего я бы сейчас пошел на Берлин”.

Как ни мелки были те стычки, в которых приходилось участвовать Суворову с момента появления его в Силезии, тем не менее, он успел уже обратить на себя внимание многих, в том числе, между прочим, и генерала Берга. Этот последний, получив в командование легкий корпус, стал просить Суворова к себе. По этому поводу от Бутурлина, сменившего Салтыкова в командовании армией, последовал в сентябре 1761 года следующий приказ:

“Так как генерал-майор Берг выхваляет особливую способность подполковника казанского пехотного полка Суворова, то явиться ему в команду означенного генерала”.

Корпус Берга отправился на Бреславль, прикрывая собой ничем не вызванное и не оправдываемое отступление русских войск. Этот поход представлял буквально сплошной ряд подвигов Суворова, завершившихся геройским занятием города Гальнау под сильным огнем неприятеля, причем Суворов получил две раны.

Вскоре после этого Суворову достался во временное командование Тверской драгунский полк, до выздоровления полкового его командира. С этим полком он имел ряд более или менее значительных столкновений с войсками Платена и Кольберга. Наконец, 16 декабря 1761 года Кольберг сдался, и кампания этого года была закончена. Командир Тверского драгунского полка выздоровел, и Суворов обратно сдал ему полк. Вместо этого ему поручено было командование архангелогородскими драгунами.

Суворов в это время имел уже большую и прочную славу во всей армии. Там этого подполковника все союзные войска знали несравненно больше, чем любого из русских генералов.

Со смертью императрицы Елизаветы Петровны (в декабре 1761 года), война была моментально прервана, и Фридрих Великий (силы которого

были окончательно истощены) был спасен вступившим на престол Петром III, безгранично преклонявшимся перед ним. Но едва Петр III успел заключить сначала перемирие, а потом – мир, как на престол вступила Екатерина II, сразу объявившая себя *нейтральной* и предложившая *всем мириться*. Суворов возвратился в Петербург в качестве посла с депешами в 1762 году, лично представился императрице Екатерине II, и собственноручным ее приказом 26 августа произведен в полковники с назначением командиром Астраханского полка. Но это назначение оказалось временным, только на тот промежуток, пока Екатерина II ездила в Москву короноваться. В это время названный полк оставался в Петербурге для караульной службы. С возвращением же императрицы 6 апреля 1763 года Астраханский полк в Петербурге был сменен Суздальским, командиром которого был назначен Суворов же. Он сразу горячо принялся за общее упорядочение полка, главное же – за обучение солдат, что и не замедлило дать ощутимые результаты. Осенью того же года государыня производила смотр Суздальскому полку и осталась им вполне довольна.

Так началось осуществление Суворовым своего намерения придать полку совершенно особый, отличный характер. Чего нельзя было достигнуть при столичной жизни полка, было пополнено во время пребывания его в Ладогe с осени 1764 до лета 1765 года. В конце же концов, как доказали красносельские маневры 1765 года, Суворов в течение полутора лет несомненно поставил уже полк на свою “суворовскую” ногу, так что на маневрах Суздальский полк выгодно выделился из всех других главным образом подвижностью и быстротою. На этих маневрах, где собрано было около 30 тысяч человек войска, Суворов и его полк играли самую видную роль, – как это и засвидетельствовано в официозной брошюре, посвященной описанию этих знаменитых маневров, где не только присутствовала, но и принимала активное участие сама государыня. Суворов же с пехотою и артиллерией производил наступательное движение, занимая высоты одну за другой и очищая путь Екатерине для осмотра неприятельских позиций.

Таким образом, А. В. Суворов был уже хорошо известен лично государыне как выдающийся военный человек. Она сразу поняла и оценила его таким. Во время приезда Суворова в Петербург в марте 1765 года, он был представлен наследнику престола Павлу Петровичу.

По возвращении с маневров в Ладогy Суздальский полк оставался на своих постоянных квартирах в течение трех лет. Это было главным временем деятельности Суворова как полкового командира. Пользуясь

полномочиями, предоставленными в ту пору полковым командирам, он посвятил буквально всего себя на одновременное создание в полку разумной материальной обстановки, полезного для целей войны строевого обучения войска, наконец, нравственного воспитания солдат.

Быстро и много сделал Суворов в Ладоге для своего полка. Прежде всего, он выстроил полковую церковь и особое здание для двух школ: *одной* — для дворянских детей, *другой* — для солдатских. Сам же сделался преподавателем. Он не только преподавал арифметику, но и написал учебник ее. Кроме того составил молитвенник для солдат и коротенький катехизис; вероятно, сам же преподавал и закон Божий. Наконец, Суворов развел полковой сад на бесплодном песке и построил конюшни для полковых лошадей. Все это было последствием *идеальной бережливости* со стороны полкового командира как в отношении *полковых средств*, которые при этом условии дают значительные остатки, так и в отношении *солдатского времени*, разумно пользуясь которым можно создавать с большою пользой для солдат целые сооружения. Солдаты в Суздальском полку по общему отзыву были *образцовыми* во всех отношениях. Сытые, хорошо содержимые, они бросались в глаза своей бодростью, оживленностью, развязностью и расторопностью, равно как и замечательно опрятным видом. Командир их, по принципу опрятный до педантизма, учил каждого из них, как чиститься, обшиваться, мыться и т.п.

Словом, заботы Суворова о материальном положении солдат – выше похвалы, потому что он в этом отношении служил своей солдатской братии положительно с самоотвержением. Но даже и эта заслуга, как великий и поучительный пример, *заслонялась специально воспитательной* деятельностью Суворова в своем Суздальском полку. Эта последняя не замедлила распространиться на громадный круг русской армии, обусловив собою длинный ряд громких и славных побед. Наконец, основные начала и принципы военно-педагогической деятельности Суворова продолжают жить до настоящего времени и останутся в силе, пока будут существовать на свете войны.

Семилетняя война, как сказано уже, с ее ошибками и отрицательными сторонами была наилучшей военной школой для Суворова. Медлительность, нерешительность, боязнь неприятеля, отсутствие живой, руководящей идеи, – все это только более и более укрепляло воззрения Суворова на военное дело, его организацию и постановку во всех отношениях, со всеми родами войск и оружия. Таким образом у Суворова созрела своя собственная *воспитательная* система обучения войск, которую он и применил в своем Суздальском полку. Сущность этой

простой и естественной системы, проистекающей, так сказать, из свойств человеческой души, можно формулировать в общих чертах так:

Войска необходимо воспитывать так, чтобы их ничто не могло озадачить на войне. Основным же условием военного успеха является *смелость*, или *храбрость*. Самый же верный путь для воспитания смелости, храбрости – идти навстречу опасности. Делом первейшей важности считал он развитие у солдат нравственного чувства, – для чего и поторопился составить молитвенник и катехизис. Действуя на религиозное чувство своих людей, Суворов вместе с тем всячески старался вызвать у них и благородные побуждения, в том числе честолюбие. Вообще же он ставил непременным условием, чтобы солдаты были уверены в самих себе: тогда они будут и храбры. Иначе же, без уверенности в себе, – справедливо замечает Суворов, – люди могут быть “бодры, мужественны, да не храбры”. Вообще же говоря, непременным условием обучения войск в мирное время Суворов ставил себе требование, чтобы весь метод и обстановка военного обучения как можно более подходили к практике военного времени.

Глава III. Конфедератские войны поляков. 1768 – 1772

Барская конфедерация. – Битва под Ореховым. – Победа при Лонцкороне, разгром Дюмуре. – Поражение армии Огинского и бегство последнего за границу. – Неблаговидные выходы Веймарна против Суворова. – Капитуляция краковского замка. – Раздел Польши

В описываемое время Польша находилась в полном распаде. Дворянство было своевольно. Всесильные магнаты считали свой произвол выше короля и закона. Духовенство было фанатизировано до последней степени нетерпимости. Народ представлял собой грубую рабочую силу на самой низшей степени угнетения. Горожане были совершенно обезличены и бесправны. При таком положении дел так называемые “разномыслящие в вере”, или диссиденты, пользовавшиеся раньше в Польше почти полной веротерпимостью, стали подвергаться разного рода обидам и притеснениям и обратились к заступничеству России. Находившийся в Польше русский посланник князь Репнин ночью арестовал четырех членов происходившего тогда в Варшаве сейма, на котором, между прочим, должен был рассматриваться и вопрос о диссидентах. Этот поступок Репнина, оказавшийся возможным в Польше, именно вследствие сильного ее упадка, так напугал сейм, что закон о восстановлении прежних прав католиков прошел.

Это вызвало большое неудовольствие, в результате которого явился проект Пулавского о *всеобщей конфедерации* против русских и диссидентов, подписанный в местечке Баре, около турецкой границы 29 февраля 1768 года восемью конфедератами, причем маршалами были избраны Пулавский и граф Красинский. Конфедерация названа “*барской*”. Польша быстро стала покрываться конфедерациями, во главе которых становились лица знатнейших польских фамилий. Русские войска рассеяли конфедератские банды, которые затем попрятались по лесам. Но количество сочувствующих конфедератам видимо возросло среди мирного населения.

Суворов, произведенный 22 сентября 1768 года в бригадиры, получив приказ о “немедленном выступлении и поспешном следовании”, выступил с полком в ноябре, в самое ужасное осеннее время. Несмотря на крайнее бездорожье, множество болот, частые переправы, сильную непогоду и

непроглядную тьму ночей при коротком дне пространство свыше 85 верст было пройдено в 30 дней при образцовом состоянии войск, так что захворало лишь шесть человек и “пропал” один.

В Смоленске Суворов получил в командование бригаду, куда вошел и Суздальский его полк. Всю зиму 1768-69 годов он провел в усиленном обучении своей бригады тому же, чему учил суздальцев, главным же образом – упражнениям во время ночной темноты. Весною Суворов был спешно вытребован с войсками в Варшаву. Край, по которому пришлось следовать ему, находился в крайне возбужденном состоянии. На каждом шагу можно было ожидать нападения, так что войска находились всегда в полном вооружении. Тем не менее, путь до 600 верст благополучно был совершен в 12 дней.

Главное начальство над войсками в Польше было поручено фон Веймарну, обладавшему некоторой военной опытностью, но педанту и мелочно самолюбивому человеку. До прибытия Суворова в Варшаву чувствовали себя весьма тревожно под влиянием слухов о конфедератах, о которых тем не менее совершенно даже не собирали должных сведений. В августе 1769 года, едва Суворов успел прибыть в Прагу, как Веймарн, не стесняясь даже ночью порою, потребовал его к себе. Ему поручено было немедленно собрать сведения о конфедератском отряде маршала Котлубовского, в котором молва насчитывала около 8 тысяч человек, угрожавших будто бы Варшаве немедленным нападением. Суворов безотлагательно предпринял рекогносцировку и фактически доказал, что в банде Котлубовского насчитывалось лишь несколько сот человек, и Варшаве не угрожает никакой опасности.

В это время сыновья маршала Пулавского, Франц и Казимир, разъезжая по Литве с большими конфедератскими силами, возбуждали шляхту к восстанию. Ввиду этого, в последних числах августа в Литву был послан Суворов с небольшим отрядом войск (2 батальонами, эскадроном, 50 казаками и 2 полевыми орудиями) для подкрепления войск, имевшихся уже на месте. Он поспешно направился к Бресту и при этом был до крайности сконфужен и оскорблен как человек военный, когда узнал в пути, что на одной высоте с отрядом конфедератов двигаются по флангам его два сильных русских отряда: Ренна и Древица (в 1,5 и 2 тысячи человек). Очевидно, не нужно было тревожить Суворова из Варшавы, если на месте имелось достаточно сил, чтобы давным-давно уже совершенно уничтожить конфедератский отряд. Чтобы сохранить за собою Брест, Суворов оставил там часть своего малочисленного отряда, а с остальными (всего лишь 400 человек при двух пушках) он шел всю ночь. На рассвете

встретился с патрулем Ренна в количестве 50 человек и присоединил их к себе. Около полудня, верстах в 70 от Бреста, близ деревни Орехово произошел жаркий и упорный бой с 2 тысячами конфедератов, закончившийся полным поражением их.

После этого Суворов получил назначение командовать Люблинским районом, куда непосредственно и отправился из-под Орехова. Этот район холмист, горист, болотист и лесист. Дороги – отвратительные: или песчаные, или болотистые. Реки широки и глубоки, горного характера. Монастыри и многие замки укреплены и годны к обороне. Если прибавить к этому еще и соседство австрийской границы, будет понятно громадное преимущество в положении конфедератов, превосходно знавших притом каждую местность и могших рассчитывать всегда и везде на поддержку населения. Наоборот же, операции русских войск были до крайности затруднены. Расположившись в Люблине, Суворов сделал его центром своего района, откуда он зорко наблюдал за всеми вновь образующимися бандами, – и быстро летел, разбивал. Это была замечательно удалая и блестящая по успеху партизанская война, доставлявшая всему корпусу Суворова (менее 4 тысяч человек) самую сложную, разностороннюю боевую практику.

С 1 января 1770 года Суворов был произведен в генерал-майоры. Он вполне владел своим районом, держа в страхе непокорных и в послушании нерешительных. Тем не менее, он очень тяготился, что по недостатку войска, отвлеченного войною с Турцией, невозможно было нанести удара сильного, решительного. А он так жаждал дела большого, серьезного, ответственного. Кроме того, были и весьма серьезные поводы к неудовольствию и раздражению.

Прежде всего, Суворов не мог уважать Веймарна, как человека недостаточно авторитетного и сведущего, что Суворов неоднократно давал понять ему в своих письмах. Кроме того, Суворов вынужден был протестовать в самой резкой форме против того незаслуженного внимания и покровительства, которое оказывалось Древицу, немцу по происхождению, человеку бездарному в военном отношении и прямо-таки недобросовестному.

Систематический разгром конфедератских банд сильно отрезвил поляков; но объявление Турцией войны России вновь несколько окрылило их надежды, и они предавались самым розовым ожиданиям от Турции. Франция же, убедившись, что натравливание ею Турции на Россию принесло большую пользу последней, быстро покрыв наши войска на турецком театре войны громкими победами, решила оказать полякам

даже и материальную помощь в борьбе с Россией.

Герцог Шуазель, управлявший во Франции военным и иностранным дел министерствами, задался целью систематически противодействовать возрастающему могуществу России. С этой целью, независимо от искусственного восстановления Турции против России, Шуазель послал в Польшу генерала Дюмурье, который и открыл кампанию в 1771 году, по началу дела довольно удачную. Конфедераты провели всю зиму в горах, и соседний с ними краковский русский отряд был так небрежен и беспечен, что вовсе даже не догадывался о существовании бок о бок с собою очень опасного противника. Поэтому в ночь на 18 апреля русские войска, неожиданно атакованные на всех пунктах преобладающими силами конфедератов, были отброшены за Вислу со значительным уроном, и вся равнина была занята конфедератами. Успех большой, тем более, что Дюмурье сразу же укрепился на новом месте. Но к удивлению даже этот, прямо случайный успех послужил во вред конфедератам. У них так закружились головы, что совершенно исчезла всякая дисциплина, которая и без того всегда была слаба. Никто не желал исполнять служебных обязанностей. Начались пиры, картежная игра, бесконечные попойки. Дюмурье, приведенный в отчаяние безобразным поведением конфедератов, сурово наказывал их, даже расстреливал, но ничто не помогало. Они опомнились только тогда, когда на них обрушился Суворов с обычной своей быстротою и энергией. Двинувшись из Люблина к Кракову, он разогнал по пути несколько партий и приблизился к местечку Лонцкороне, верстах в 28 от Кракова. Местечко моментально было занято, но штурм замка не удался. Три атаки были отбиты с большим уроном. В строю почти не осталось офицеров. Суворов был оцарапан и под ним ранена лошадь. Отступление сделано медленно, в полном порядке.

Согласно своему обыкновению, Суворов намеревался немедленно же поправить лонцкоронское дело, но на это не оказалось времени, так как к Кракову стягивались партии конфедератов Пулавского и Саввы. Узнав об этом, Суворов двинулся туда же.

Прибыв в Люблин, Суворов нашел там распоряжение Веймарна немедленно следовать в Краков, куда поспешно стягивались все главнейшие силы конфедератов. На пути к Кракову Суворов разбил одну конфедератскую партию, затем, перейдя за Краков, отбросил другую партию, и так быстро подступил к монастырю Тынцу, что конфедераты, состоявшие только из конницы, были застигнуты совершенно врасплох. Они спали, а лошади их были расседланы. Но несколько часов, безрезультатно потраченных на вторичную атаку Тынца, дали возможность

Дюмуре несколько прийти в себя, оправиться и стянуть хоть некоторую часть своих войск, – что сильно затруднило переход русских к Лонцкороне, который пришлось производить под огнем оправившихся конфедератов, занимавших высоты.

Это происходило 10 мая. Под командой Суворова состояло около 3,5 тысяч человек. У Дюмуре было несколько более, притом – почти одной конницы. Но замечательно выгодная позиция давала ему право считать себя прямо-таки непобедимым. Так именно и смотрел на это Дюмуре, настолько уверенный в победе, что он боялся только одного – как бы Суворов не уклонился от боя. Этого, однако, не случилось. Напротив, словно вихрем взлетели на “твердыню” казаки и карабинеры, а за ними сплошной лавиной неслась пехота. Конфедераты пришли в ужас от неожиданности и сплошной массой, почти без выстрела, обратились в постыдное бегство. Напрасно Дюмуре из сил выбивался, чтобы сколько-нибудь ободрить их и устроить: на него никто не обращал внимания. Напрасно Сапега пытался ударами сабли остановить свои бегущие войска: он был заколот ими же.

Лонцкоронское сражение было делом моментальным, как порыв урагана: оно продолжалось всего около получаса. Только Валевский, занимавший неприступный левый фланг позиции, и Дюмуре с небольшим отрядом французов отступили в порядке; все же остальное было побито или беспорядочно бежало. Лонцкоронское поражение произвело потрясающее впечатление. Дюмуре вскоре же уехал во Францию, навсегда отказавшись от дела поляков. Таким образом, конфедераты были окончательно разбиты. Но остался еще Пулавский – инициатор дела, самый энергичный и способный из всех. Он не принимал участия, потому что считал неудобным, чтобы иностранец стоял во главе самого кровного патриотического дела.

Ввиду намерения Пулавского отправиться в Литву, Суворов настиг его отряд под Залесьем, и 22 мая произошел бой, окончившийся бегством отряда Пулавского. Сам же Пулавский, ввиду того, что путь ему в Литву прегражден, направился по дороге к Люблину, причем Суворов горячо преследовал его. Намереваясь пробраться к венгерской границе, Пулавский, чтобы обмануть бдительность Суворова, оставил ввиду его свой арьергард, приказав ему продолжать отступление в прежнем направлении; сам же с большею частью отряда обошел Суворова, зашел в тыл ему и направился по прежнему своему пути. Суворов был так восхищен, когда узнал об этой остроумно-хитрой выходке Пулавского, что в знак уважения к нему послал ему на память самую любимую свою

табакерку.

После погрома конфедератских отрядов в Польше большим соблазном для уцелевших приверженцев конфедерации служил литовский великий гетман, граф Огинский. Уклоняясь от открытого участия в деле конфедератов, он, тем не менее, тайно оказывал им внимание и поддержку. Когда же наконец Огинскому категорически было заявлено требование или распустить войска (около 3 – 4 тыс. человек), или переменить позицию, он изъявил готовность повиноваться, если получит удостоверение в своей безопасности. Но это оказалось только плутовской уловкой, чтобы выиграть время для внезапного нападения, которое и было произведено в ночь на 30 августа 1771 года. Огинский напал на отряд того самого полковника Албычева, который вел с ним переговоры, и большую часть отряда взял в плен. Албычев же был убит. Учинив такое предательство, Огинский объявил манифестом о своем присоединении к конфедерации.

В это время Веймарн, не имея, по-видимому, никакого понятия о состоянии войск Огинского и передвижении их, рассылал положительно, можно сказать, *сверхъестественные* “предписания” подведомственным ему военачальникам, в том числе и Суворову. В общем, предписания эти такого свойства, что точное исполнение их неминуемо привело бы даже к полному разгрому русских войск.

На долю Суворова, например, выпали четыре предписания: от 23 и 31 июля, от 29 августа и 1 сентября. Сущность их сводилась к тому, чтобы Суворов, неведь почему и для чего, снял все посты, собрал людей в Люблине и “держал их вкупе”, но никуда бы не отлучался, а ожидал бы распоряжений и наблюдал за Огинским. Главное же – все эти предписания, начиная с первого, имели *запоздалый* характер. Суворов же был слишком крупной личностью, чтобы отказаться от почина, когда он вызывался необходимостью, только вследствие *неполучения* соответствующих инструкций. А потому, как только он убедился в большой опасности от Огинского в случае промедления, он немедленно же двинулся навстречу ему, о чем и сообщил Веймарну.

Это самовольное отправление Суворова в дальнюю экспедицию было сделано им так *умно* и *предусмотрительно*, что осталось совершенно невыполненным нелепейшее и крайне вредное распоряжение Веймарна о “снятии всех постов”. У Суворова же все осталось на своих местах, с сохранением существовавшей связи между отдельными армиями. Иначе говоря, только благодаря самовольным распоряжениям Суворова прямо в отмену всех “предписаний” Веймарна, этот последний не только избавился от позора непростительно ошибочных своих распоряжений, но и оказался

даже как бы причастным победной славе, вместо подготавливавшегося им, по неведению, поражения...

Суворов настиг в местечке Столовичах Огинского, в распоряжении которого состояло в это время в общей сложности до 7 тысяч человек войска. В передовом же отряде Суворова было в это время только около 822 человек, и он рассчитывал на некоторые подкрепления из других отрядов. Но несмотря на крайнюю малочисленность своих войск, он считал невозможным откладывать нападение, чтобы не упустить неприятеля. Нападение было произведено в ночную пору и так удачно, что местечко очень быстро было захвачено русскими, а неприятель в паническом страхе обратился в бегство чуть не поголовно. Сам Огинский едва спасся, вскочив на коня и ускакав в поле, где массами бродили в беспорядке безоружные, как бы обезумевшие от ужаса беглецы, не хотевшие слушать никаких увещеваний и советов. На заре русские были уже полными хозяевами в Столовичах, из которых неприятель был окончательно удален, а находившиеся в плену русские из отряда Албычева были освобождены и присоединились к войскам Суворова.

Но в местечке стояла только часть войск Огинского; большинство же их находилось поблизости, в лагере на небольших высотах. Поэтому, как только рассвело, Суворов немедленно повел свои войска в атаку на лагерь, нимало не смущаясь изумительной их малочисленностью, что, однако, слишком уж резко бросалось в глаза ввиду наступившего дня. Суворов же был хорошим психологом: он был твердо уверен, что бежавшие в лагерь из Столович давно уже деморализовали войска своими рассказами о поражении. Вот почему Суворов без всяких колебаний и сомнений приказал 70 человекам карабинеров атаковать неприятельскую конницу, в которой было не менее 500 человек. Такова же была и пропорция между пехотой обеих сторон. Результат получился поразительный. Горсть русских карабинеров опрокинула многочисленную неприятельскую кавалерию. Так же быстр и блестящ был и успех пехоты, так что к 11 часам дня битва закончилась полным разгромом всего отряда Огинского. Сам он едва спасся бегством в Кенигсберг с десятком гусар. Бегство это еще более усилило блеск и значение столовичской победы. Главный же штаб и свита Огинского, находившиеся в Пинске, были захвачены Суворовым.

Донося 13 сентября Веймарну об одержанной победе, Суворов говорит: “теперь пора мне туда, откуда пришел”. И к 29 сентября он был уже в Люблине. Но не так отнесся к этой победе Веймарн. Он тяжело обвинил Суворова в самовольстве и вовсе даже не признал его заслуг в столовичской победе, которая будто бы одержана, по его словам, “счастлием

оружия Ея Императорского Величества и храбростью славных наших войск”. Словом, зависть и злоба совсем помutilи ум Веймарну; но военная коллегия, куда он обратился с клеветническими доносами на ни в чем не повинного Суворова, не обратила внимания на его обвинения как на пристрастные и ложные.

На место Веймарна в Варшаве был назначен Бибиков. Между ним и Суворовым сразу установились наилучшие отношения. Засвидетельствовав Суворову письменно об его опытности, искусстве, познаниях и заслугах, Бибиков вполне благоразумно предоставил личному его усмотрению распределение и разделение войск, спрашивая его мнения относительно вопросов наибольшей важности.

С началом 1772 года, то есть переходом к Бибикову начальствования нашими войсками в Польше, принято было решение – покорить все укрепленные места, находившиеся еще во власти конфедератов. А так как в этих укреплениях сидело немало и французов, то Франция пожелала оказать России противодействие в этом отношении. С этой целью вместо Дюмурье, так постыдно ретировавшегося из Польши, явился генерал-майор барон де Виомениль с хорошим запасом денежных средств и целой партией переодетых офицеров и унтер-офицеров.

Первый дебют Виомениля, как и Дюмурье, был удачен. Пользуясь небрежностью и неспособностью лица, начальствовавшего в Кракове русским отрядом и заведовавшего этим городом, Виомениль, при содействии краковских жителей и духовенства, ночью тихонько проник в краковский замок, который и удержал за собой, успев даже стянуть туда несколько войск. Узнав об этом, Суворов был крайне возмущен оплошностью своего подчиненного и прибыл в Краков 29 января, соединившись с Бронницким, командовавшим пятью польскими коронными кавалерийскими полками.

Осаждая краковский замок, Суворов вместе с тем и сам находился в серьезном осадном положении от конфедератских партий, задавшихся целью заставить русских снять блокаду Кракова. Тем не менее, все-таки успели обрушить часть стены около ворот крепости, пробить брешь и произвести несколько пожаров. Во избежание кровопролития Суворов послал в замок извещение, что для штурма все готово, и если гарнизон не сдастся, – будет весь истреблен... После непродолжительных переговоров Суворова с французским генералом Шуази, начальствовавшим в замке, 12 апреля была заключена капитуляция, в которой между прочим было оговорено, что французы сдаются не военнопленными, а просто пленными, так как войны между Россией и Францией не было. Сдача произошла 15

апреля.

За взятие краковской крепости Екатерина II наградила Суворова 1 тысячей червонцев; войскам же, участвовавшим в этом деле, назначила для раздачи 10 тысяч рублей.

Не покидая Кракова, Суворов принялся деятельно завершать конфедератскую войну. Он овладел хорошо укрепленным городом Затор и предпринял осаду Тынца и Лонцкороны. Но именно в этот момент в краковскую область вступили австрийские войска... Вскоре был подписан договор о разделе Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Суворов же получил новое назначение – в Финляндию, так как предполагались со стороны шведского короля враждебные замыслы по отношению к России.

Глава IV. Турецкая война. 1773 – 1774.

Вовлечение Францией Турции в войну с Россией. – Назначение Суворова на турецкий театр войны. – Две битвы под Туртукаем. – Гирсовский пост и большая победа. – Козлуджи и отъезд Суворова из армии

Жестоко поплатилась Турция, так безрассудно вовлеченная Францией в войну с Россией. Война вскоре приняла крайне неблагоприятный для Турции оборот. Тем не менее, Россия крайне тяготилась искусственно вызванной по проискам Франции войной с Турцией. Но так как последняя упорно не соглашалась признать требуемой Россией независимости крымских татар, то, потратив весь 1772 год и часть 1773 года на переговоры, вновь пришлось взяться за оружие.

В это именно время и появился на театре турецкой войны Суворов. Предполагавшаяся война со Швецией оказалась вздором. А потому Суворов энергически принялся за осуществление давнего своего желания – попасть на турецкий театр войны, что без труда удалось ему ввиду боевой его славы.

Представившись в Яссах главнокомандующему дунайской армией графу Румянцеву, Суворов получил назначение в дивизию генерал-поручика графа Салтыкова, который дал ему в командование отряд, находящийся под Негоештским монастырем, куда и прибыл 5 мая 1773 года. В то время Турция еще пользовалась ореолом грозной, воинственной державы. Но именно войнам екатерининского времени, – к рассмотрению которых мы обращаемся теперь, – принадлежит уничтожение этого ореола. Один Суворов сделал в этом отношении более всех других.

Из Петербурга более полугода уже требовали немедленного перехода за Дунай и занятия всего края до Балканов. Но в Яссах относились к делу совершенно иначе и даже считали петербургский план вовсе неосуществимым. Суворов сразу оценил всю важность этого плана, и по мере сил стремился всегда к его осуществлению. Отряд Суворова составлял оконечность левого фланга дивизии графа Салтыкова и служил связью с отрядом генерала Потемкина, ставшего вскоре всесильным временщиком. Здесь, под Туртукаем, было чрезвычайно много турок, зорко следивших за русскими на другом берегу Дуная.

Едва Суворов успел прибыть к месту своего назначения, как от него потребовали разведок на Туртукай. Он обратил внимание Салтыкова на

крайнюю малочисленность своего отряда (около 500 человек пехоты) против четырехтысячного отряда турок. Но просьба Суворова была оставлена без внимания. И это почти заурядно повторялось в военной деятельности Суворова: у него, выступавшего обыкновенно в самых опасных предприятиях, почти всегда бывало изумительно мало войска; у начальников же отрядов, соседних с ним и обыкновенно бездействовавших, сосредоточивались в это время большие количества войск, содействием которых, однако, Суворову очень редко удавалось пользоваться.

8 мая Суворов произвел разведки на Туртукай, причем опрокинул и обратил в бегство отряд турок около 900 человек. Сообщая Салтыкову об этой стычке, Суворов еще раз повторил на разные лады и убедительно доказывал, что у него *слишком мало* пехоты. Но опять-таки – *никакого результата*. Тогда Суворов назначил атаку в тот же день, когда турки были отбиты с таким поразительным уроном. А чтобы скрыть малочисленность своих войск, он предпринял *ночную* переправу через Дунай, имеющий там около 300 сажень, буквально перед носом у неприятеля и вместе с тем предписал в своей “диспозиции” поистине *лихую* “ночную атаку с храбростью и фурией сначала на один турецкий лагерь, потом на другой и, наконец, на третий”. Решаясь на такое предприятие, Суворов хорошо знал, что у этих лагерей, помимо многочисленного войска, имелись еще и четыре сильные батареи, занимавшие самые выгодные позиции.

В ночной темноте произошла переправа через Дунай в полном порядке. Ее заметил неприятель, открывший сильный огонь. Тем не менее, переправа совершилась замечательно благополучно, при незначительной потере лошадей и людей. В ночную же пору атаками были взяты один за другим три неприятельских лагеря с их батареями, а затем – и город Туртукай, моментально очищенный от засевших в нем турок, который вскоре же был взорван порохом и выжжен дотла.

Разгром был кончен к 4 часам ночи. Бились с таким ожесточением с обеих сторон, что пленных вовсе не было. С нашей стороны около 200 убитых и раненых; у неприятеля же около полутора тысяч человек легло на месте. Еще до солнечного восхода Суворов уведомил Салтыкова о своей победе.

Независимо от этого, Суворов послал Румянцеву как главнокомандующему, такое донесение:

“Слава Богу, слава вам,
Туртукай взят, и я там”.

Во время битвы при атаке батареи разорвало турецкую пушку, и осколками сильно ранило Суворову правую ногу.

Суворов всеми силами старался доказать Салтыкову необходимость утвердиться на другом берегу Дуная (где он уже одержал такую блестящую победу), и затем – более и более развивать свои военные операции в глубь неприятельской страны. В этом же смысле последовал и приказ от Румянцева, но Салтыков, по-видимому, даже вовсе не мог понять всей важности и пользы непрерывного наступательного действия на турок. В самый же день победы Суворов, не имея подкрепления, вынужден был опять возвратиться на свой берег Дуная. Вследствие этого турки по-прежнему продолжали сношения по Дунаю. Уничтоженные Суворовым их лагеря вырастали и вырастали; войска довольно быстро прибывали в них.

В это время Суворова одолевали жесточайшие припадки лихорадки, но он все-таки некоторое время пересиливал себя и оставался на своем посту. Борясь с лихорадочными пароксизмами, он деятельно готовился к нападению на турок, и под диктовку его, измученного лихорадкой, была составлена подробная диспозиция. Тем не менее, недуг окончательно сломил его, так что ему уже оставалось только лечиться.

Но дело, умно обдуманное им, прекрасно подготовленное и подробно распланированное, было отложено потому, что исполнители, которым все было доверено Суворовым, трусили в самом начале... Болезнь Суворова продолжалась до 14 июня. И хотя главные силы Румянцева были уже переправлены за Дунай, хотя Румянцев настойчиво требовал, чтобы предприняли, если не “поиск”, то хоть “демонстрации”, тем не менее, в ожидании возвращения Суворова дело оставалось в полнейшем застое. Зато, с другой стороны, на этот раз уже в точности были исполнены все требования Суворова относительно количества войск.

Нападение на Туртукай назначено было в ночь с 16 на 17 июня. Хотя Суворов и прибыл ради этого, но был так слаб, что мог двигаться только при помощи двух человек, поддерживавших его под руки, и говорил так тихо, что при нем находился офицер, для повторения отдаваемых им приказаний. Начать бой поручено было храброму майору Ребоку, переправившемуся с первой партией войск. Он вполне оправдал оказанное ему доверие и блестяще выполнил данное ему поручение как во время ночной переправы под неприятельским огнем, так и при горячей, настойчивой атаке первого неприятельского лагеря. Сам Суворов прибыл лишь со второй партией войск, которая хоть и запоздала несколько, но, тем не менее, вовремя успела поддержать Ребока, замечательно умело и находчиво ведшего все время сложный и сильный бой с многочисленным

неприятелем. С прибытием Суворова и по личным его распоряжениям еще более оживился бой. У Суворова так велик был перевес воли над физическим недугом, что под конец боя он даже сел на коня. Турки потерпели полное поражение. Разбежавшиеся в разные стороны неприятельские войска были горячо преследуемы верст пять.

К вечеру того же дня Суворов опять возвратился на свой берег и послал Салтыкову известие о победе, а к Румянцеву отправил с донесением майора Ребока как главного виновника победы. 7 июля состоялось новое распределение полков по отрядам, причем Суворов получил от Румянцева назначение в “главные силы”, именно – в Гирсово, этот единственный пункт, принадлежавший нам по ту сторону Дуная, – чем доказал, что он вполне ценил и службу Суворова, и его блестящее дарование.

Осмотрев свой новый пост, Суворов признал его недостаточно обеспеченным от турецких покушений и энергически принялся за сооружение дополнительных укреплений и исправление крепостных верков^[1]. Еще не успели вполне закончить эту работу, как в ночь на 3 сентября в 20 верстах от Гирсова показалась турецкая конница; утром же турки, значительно усилившись, потеснили передовые посты; а в полдень неприятель был уже на пушечный выстрел от Гирсова. Желая заманить турок как можно ближе, Суворов безусловно запретил стрелять из пушек и даже послал казаков с ложной атакой. Казаки, бросившись на турок, начали затем понемногу отступать; а потом, как бы в паническом страхе от преследования, во всю прыть умчались в поля в разные стороны. Когда поле очистилось от казаков, – турки начали разворачивать свои силы и строиться. Суворов с беззаботным видом смотрел на маневрировавшего перед ним неприятеля, как на забаву, ядовито острил, указывая на него своим приближенным, и весело смеялся. А турки шли вперед быстрее и быстрее, наконец стремительно бросились на штурм. Атакующих встретил жестокий картечный огонь. Таким образом, заманив турок к самым стенам крепости, с точностью математического расчета охватил все турецкое полчище общей атакой.

Количество войск у Суворова простиралось до 3 тысяч человек, в распоряжении же неприятеля было около 12 тысяч войска. Тем не менее, хотя турки с отчаянием бились за каждую пядь земли, русские все-таки явно уже начали теснить неприятеля по всей линии наступления, и в среде неприятеля проявился наконец такой панический страх, что не отступление только, а самое *постыдное бегство* сделалось общим. Казаки и конница гнали неприятеля на протяжении 30 верст; казаки же, кроме того, не переставали тревожить его и всю ночь.

По распоряжению Румянцева был отслужен благодарственный молебен во всей армии. 5 сентября Румянцев написал Суворову:

“За победу, в которой признаю искусство и храбрость предводителя и мужественный подвиг вверенных вам полков, воздайте похвалу и благодарение именем моим всем чинам, трудившимся в сем деле”.

Тем не менее, медлительность и бездеятельность Румянцева остались в прежней силе. Суворову нечего было делать в армии, а потому с наступлением зимы он взял отпуск в Москву на короткое время. Там он, совершенно неожиданно для самого себя, женился, что называется, *наобум*, — и был *глубоко несчастлив* в супружестве. К началу кампании 1774 года он все-таки не опоздал. Жена же осталась в Москве.

При распределении Румянцевым войск своей армии Суворову было поручено охранение Гирсова, наблюдение за Силистрией и совокупные действия с отрядом генерала Каменского, давнего недруга Суворова. Хуже этой последней комбинации невозможно даже ничего представить, так как Суворов и Каменский открыто ненавидели друг друга. И эта ошибка главнокомандующего была затем еще *усугублена* им. Предоставив им первоначально самостоятельное, совместное решение всего, касающегося их операций (времени, направления, действия совместно или порознь) и пр., Румянцев, после того уже, как они совместно между собой условились “разбить неприятеля в поле”, предписал, “чтобы в спорных вопросах первенство принадлежало Каменскому как старшему”. Таким образом, Суворов был поставлен под начало Каменского. Это не только ошибка, но и *несправедливость* в отношении Суворова. Он, в силу своеобразного своего военного дарования, мог действовать и действовать всегда не иначе, как совершенно самостоятельно. Затем, ни о каком “старшинстве” не может быть и речи. Оба они были в чине генерал-поручиков; боевое же прошлое Суворова было неизмеримо выше прошлого Каменского.

Для осуществления условленного между ними плана Каменский первым выступил, а затем должен был выступить и Суворов 28 мая. Но он опоздал на два дня, под предлогом несвоевременного прибытия некоторых полков; а затем — пошел не по той дороге, какая была условлена, а по другой, считая ее ближней. Во всяком случае Каменский вовсе не был уведомлен Суворовым, и донес Румянцеву, что Суворов неизвестно где находится и поступает, как независимый от него генерал.

С военной точки зрения поступок Суворова “неизвинителен”. Но со

стороны здравого смысла и трезвой логики несправедливо оскорбленный, заслуженный и известный полководец безусловно прав. Будучи опрометчиво лишен самостоятельности, он произвольно *восстановил* ее именно ради *пользы службы*. Выйдя из подчиненности ненавистного ему человека, не могшего иметь ни малейшего авторитета для него как человека несомненно гениального в военном отношении, Суворов решил самостоятельно *найти* неприятеля и *расправиться* с ним на свой личный страх и риск. И если произвольно избранная Суворовым дорога оказалась неудобной в смысле сообщения, зато она сразу же привела его к желанной цели – к неприятелю. Дорога была узкая, запущенная, пролегла через густой лес. Едва разведочный отряд углубился в лес, как сразу же наткнулся на турецких разведчиков, высланных корпусом в 40 тысяч человек, вышедшим из Шумлы в Гирсово и находившимся уже в Козлуджи.

В дремучем лесу, где пролегла лишь одна дрянная дорожка, завязался жесточайший бой между встретившимися отрядами, систематически поддерживаемыми подкреплениями с обеих сторон. Здесь приходилось буквально брать каждый шаг с бою. На каждой лужайке пехота развертывалась – и происходило форменное сражение. Таким-то путем приходилось пробиваться через лесную трущобу и чрез неприятеля на расстоянии около 9 *верст!*.. Войска были до крайности истомлены прежним переходом, необыкновенными затруднениями в лесном пути и чрезвычайной жарой. Многие солдаты падали от изнеможения и даже умирали на ходу от истощения сил.

На плечах неприятельского авангарда Суворов достиг, наконец, окраины леса, вышел на поляну перед Козлуджи протяжением около 9 верст, на возвышениях которой стояла турецкая армия. В это время хлынул ливень как из ведра, бывший величайшим благом для русских войск, освеживший их истомленные силы. Но дождь причинил немаловажный вред туркам: он намочил их длинные, широкие одежды, ставшие тяжелыми и затруднительными для движения, а главное – подмочил патроны, которые они носили в карманах.

Бой, начавшийся и происходивший в лесу, не прекращался ни на минуту, так как по выходе из леса легкие наши войска неотступно следовали за неприятельским авангардом, взошли на высоты и завязали перестрелку. На поляне перед 40-тысячным неприятельским корпусом у Суворова было всего около 8 тысяч человек. Кроме того, артиллерия его запоздала, задержанная крайне неудобной лесной дорогой, заваленной теперь еще и жертвами происходившего упорного боя. Неприятельские же батареи поддерживали жаркий огонь во все время с момента выхода наших

войск из леса. Неприятель, отбросив взобравшиеся к нему на высоты наши легкие войска, сам стремительно ринулся в бешеную атаку против двигавшихся вперед главных сил Суворова. Атака возобновлялась несколько раз со свежими силами и возраставшим ожесточением неприятеля, но каждый раз была отбиваема, и русские войска беспрерывно подвигались вперед и вперед. Эта неудача быстро заменила прежнее напряженное одушевление явным ужасом и отчаянием, особенно же, когда, наконец, прибыли и 10 полевых орудий, моментально установленных и начавших обстреливать неприятельский лагерь.

Невозможно описать тот хаос, в который обратился лагерь, когда в него начали попадать русские ядра. Всеми овладела паника, и решительно никто не хотел слушать своего предводителя, пытавшегося восстановить порядок в пришедших в расстройство войсках. Поражение было полное. Ко времени заката солнца Суворов занял весь турецкий лагерь. Помимо 29 орудий и 107 знамен, войскам досталась громаднейшая добыча.

В этот необычайно трудный день Суворов все время был на коне и очень часто не только в самом горячем огне, но и в отчаяннейших рукопашных схватках. Само собой разумеется, что такой пример доводил солдат до безумной отваги, потому что они беззаветно любили и уважали Суворова, боготворили его как высший авторитет. Факт риска собой, доходящего даже до полного самозабвения, доказывает, что Суворов, рискнув на самоуправство, при первом же столкновении с неприятелем решил: или победить – и тем загладить свой проступок, так как “победителей не судят”, – или умереть. Эта решимость Суворова ясно проявилась уже при первом столкновении с неприятельским авангардом в лесу, когда Суворов так увлекся, что совсем было попался в руки неприятелей, откуда выбрался лишь благодаря быстроте своего коня, успевшего унести его от лихой погони.

Крупная победа при Козлуджи сразу положила конец всем толкам по поводу необычайности *самовольства* Суворова. Все, не исключая и Каменского, единодушно сознавали, что никто другой не только не в состоянии был бы проделать все это, притом так быстро и решительно, как это сделано Суворовым, но безусловно никто не решился бы даже предпринять хоть что-нибудь подобное. Вот почему Каменский, при всей своей ненависти к Суворову, тем не менее, в донесении о козлуджинской победе, перечисляя наиболее отличившихся, в особенности расхвалил Суворова, с которым, однако, он на всю жизнь остался в неприязненных отношениях.

Суворов, конечно, ни в каком случае не мог более оставаться в

подчиненном положении у Каменского, и через несколько дней после битвы уехал в Бухарест, ссылаясь на свое болезненное состояние, которое, хотя несомненно существовало в весьма серьезной степени, но, тем не менее, не оно вызывало отъезд из армии. Несоответственная, явно несправедливая подчиненность Суворова Каменскому безусловно лишала его возможности действовать и при самом даже цветущем состоянии здоровья и сил.

Когда Суворов по приезде в Бухарест явился к главнокомандующему, тот сурово принял его и потребовал объяснений: *как он осмелился оставить свой пост почти в виду неприятеля!?*.. Тем не менее, выслушав Суворова, Румянцев перевел его от Каменского к Салтыкову, но затем, в тот же день разрешил Суворову уехать в Россию для лечения.

Глава V. Военно-административная деятельность. 1774 – 1787

Поимка, доставка и казнь Пугачева; усмирение пугачевщины. – Деятельность на Кубани и в Крыму. – Командировка в Астрахань. – Закубанская экспедиция. – Деятельность в Кременчуге и приобретение известности

Как только Суворов освободился на дунайском театре войны, общий голос указал на него как на лучшего и самого надежного усмирителя пугачевского мятежа, который все продолжал шириться и усиливаться. Суворов действительно тотчас полетел на почтовых в Москву, повидался там с женой и отцом и, согласно распоряжению, оставленному графом П. И. Паниным, заведывавшим всей борьбой с мятежом, немедленно же помчался на перекладной, в одном кафтане, без всякого багажа в имение, где проживал Панин. Повидавшись с ним и условившись относительно образа действия, он в тот же день (24 августа) отправился в экспедицию с конвоем лишь в 50 человек. Удивленный такой быстрой исполнительностью своего нового подчиненного, Панин донес об этом Екатерине II, которая удостоила Суворова следующим рескриптом:

“Вы приехали 24 августа к графу Панину так налегке, что, кроме вашего усердия к службе, иного экипажа при себе не имели, и тот же час отправились паки на поражение врага”.

Поблагодарив за такое “рвение”, государыня пожаловала ему 2 тысячи червонцев на экипаж.

Это был один из самых *отчаянных* по смелости походов с ничтожным по численности конвоем против громадной мятежной массы, опьяненной буйством, грабежом, разбоем и бесчинствами.

Прибыв в Саратов, Суворов узнал, что Пугачев еще 4 дня тому назад разбит Михельсоном и убежал в степь за Волгу с небольшим отрядом преданных ему людей; пополнив несколько свой конвой и посадив на лошадей 300 пехотинцев, Суворов переправился за Волгу в погоню за Пугачевым.

Двигаясь по этой безбрежной степи наугад, днем – по солнцу, ночью – по звездам, Суворов удачно напал на след Пугачева. Оказалось, что отряд

последнего, струсивший неотступной погони, сам связал Пугачева и повез его в Яицк, чтобы выдачей предводителя спасти свои головы. Когда Суворов, совершивший степной поход в 600 верст в 9 дней, прибыл в Яицк 16 сентября, Пугачев был уже в распоряжении местного коменданта, полковника Симонова.

Пугачев, доставленный в Симбирск 1 октября и сданный Суворовым Панину, был казнен в Москве в начале 1775 года. Но *пугачевщина* еще не была прекращена. Вся восточная полоса России так была потрясена безначалием и разорением, что ей неминуемо грозили голод и мор. У башкиров продолжались смуты. Шайки злодеев и грабителей еще бродили во множестве. Бороться с этим злом, восстанавливать порядок – опять-таки выпало на долю Суворова. Едва он успел, после сдачи Пугачева, побывать до половины ноября в Москве, чтобы навестить жену и отца, как последовало распоряжение о подчинении ему всех войск в Оренбурге, Пензе, Казани и других местах, почти до Москвы, в общем итоге – до 80 тысяч человек. Вся зима была употреблена им на это невообразимо трудное дело. Тем не менее, башкирские смуты были усмирены, и обломки пугачевских шаек без следа уничтожены, но отнюдь не насильственными мерами, а большим тактом Суворова.

В ноябре 1776 года Суворов получил назначение в Крым. Тут ему пришлось служить под ведением князя Прозоровского. А так как он не переносил подчиненности у посредственностей, то в июне 1777 года уехал в отпуск в Полтаву, где проживала жена его с маленькой дочерью, родившейся в августе 1775 года. Когда же прошел срок отпуска, Суворов уведомил Прозоровского, что не может возвратиться по болезни. Узнав об этом, Румянцев сильно рассердился и послал Суворову категорическое “предписание” – *немедленно явиться* к месту своей службы. Но и это не помогло. Суворов хладнокровно ответил, что “немедленно” не может исполнить “приказания”.

Он решил совсем не возвращаться под начальство Прозоровского, тем более, что ввиду происшедшего там в это время восстания татар Прозоровский доказал полную свою неспособность, так что Суворову, с его блестящей военной репутацией, даже рискованно было иметь такого начальника. Но в это время, при посредстве Потемкина, Румянцев получил приказание о назначении Суворова командовать кубанским корпусом. В этой самостоятельной роли Суворов особенно характерно зарекомендовал себя как талантливый организатор и администратор.

Пробыв в Кубанском краю менее 100 дней, Суворов, однако, успел в это время сделать для края немало существенного. Прежде всего он лично

осмотрел линию постов по берегу моря, изучая вместе с тем и саму страну. Результатом этого явилось самостоятельное топографическое описание края и любопытные этнографические сведения с цифрами и определительными данными. Кроме того, в это же время было построено более 30 укреплений, причем и значительно улучшен весь порядок службы в кордоне.

Румянцев по достоинству оценил значение деятельности Суворова на Кубани и назначил его вместо Прозоровского, получившего двухгодичный отпуск под предлогом болезни. Власть же Суворова была распространена и на Кубань, уже изученную им.

В этой новой роли Суворов, помимо известных уже нам высоких дарований, проявил еще и большой дипломатический дар. Вследствие кучук-кайнарджиского мира Россия приобрела сильное, непосредственное влияние на крымские дела, так как Крым был признан независимым. Конечно, такое состояние Крыма было лишь ступенью к полному присоединению его к России. Именно со времени назначения Суворова в Крым, благодаря его энергической и талантливой деятельности, началось систематическое выполнение указанной цели, имевшей такое громадное политическое значение для России в смысле пользования Черным морем. Турция, конечно, всеми силами старалась противодействовать русским. В этих видах турецкий флот беспрерывно крейсировал у крымских берегов. Но вследствие принятых Суворовым мер не было никакой возможности высадиться иначе, как *насильственным* путем. А это было слишком рискованно для Турции. Итак, не сделав ни одного выстрела, не пролив ни капли крови, дело, в конце концов, получило такой исход, что Турция вынуждена была признать крымским ханом Шагин-Гирея, в полном смысле русского *ставленника*, вполне зависимого от России в материальном отношении.

Проработав с таким напряжением сил, что в течение года не удалось побывать даже у своей семьи в Полтаве, Суворов вынес очень тяжелое впечатление и горько жаловался в своих письмах на чрезмерную требовательность Румянцева, большую его придирчивость и резкий тон. Естественно поэтому, что он рвался от Румянцева, и, наконец, при помощи Потемкина получил в командование малороссийскую дивизию и поселился в Полтаве, вместе со своим семейством. Но ему не пришлось, что называется, даже и обжиться на новом месте.

В Петербурге явилась новая затея – завязать торговые сношения с Индией через Персию и Каспийское море. И для этого опять-таки потребовался Суворов. Его вызвали в Петербург: государыня приняла его

очень милостиво и оказала ему особенное внимание, пожаловав 24 декабря 1779 года бриллиантовую звезду св. Александра Невского со своей одежды. Ему дано было секретное поручение по поводу указанной затеи, и он уехал в Астрахань. Все это оказалось вздором. Англия слишком крепко держала в своих руках торговлю с Индией, чтобы России можно было чем-нибудь поживиться там. Суворову же пришлось томиться около двух лет в Астрахани в ожидании какого-либо определенного дела, в среде провинциальных сплетников и пасквилянтов, усиливавшихся подвести его под общий уровень, так что этот мужественный человек, наконец, с отчаянием завопил: “Боже мой, долго ли же меня в таком тиранстве томить!”

Вопль этот дошел и до Петербурга, где теперь Суворов был крайне необходим для Потемкина, заступившего место Румянцева и продолжавшего его политику с Крымом, но при совершенно других уже условиях. Под влиянием происков турок в Крыму произошло волнение, и там низложили хана Шагин-Гирея. Россия моментально воспользовалась этой оплошностью турок, заняв своими войсками Крым, Тамань и Прикубанский край. Екатерина в апреле 1783 года издала манифест о принятии всех этих областей под свою державу. Значит надо было сделать это подданство фактическим. А потому первой заботой Потемкина было приведение ногайцев к присяге как новых русских подданных. Суворов, раньше уже знавший ногайцев и хорошо известный им еще с 1778 года, не встретил к этому никаких препятствий, прибегнув к форме широкого, радужного угощения. За это Суворов получил недавно учрежденный орден Владимира первой степени. Но коварные кочевники, несмотря на присягу, остались такими же, как и были. После довольно сильного брожения между ними вспыхнул почти общий мятеж с нападением на Ейскую крепость в отсутствие Суворова. Не имея ни пушек, ни ружей, мятежники, конечно, потерпели неудачу, и удалились за Кубань, так что остались верными России лишь трое мурз. В восстании ногайцев и уходе их за Кубань был виноват только Потемкин. Он навязал Суворову такую меру, как переселение ногайцев в уральскую степь.

Впрочем, Суворов быстро исправил неблагоприятное впечатление от самоуправства ногайцев. Он совершил беспримерно-блестящую экспедицию за Кубань для наказания ногайцев. Поход был предпринят в холодную осеннюю пору на исходе сентября 1783 года. Суворов умудрился скрыть переход целого отряда войск на протяжении около 300 верст. Он передвигался исключительно по ночам, почти всегда в целину, по совершенно неведомой местности, буквально изрезанной глубокими

балками и множеством рек с широкими и глубокими бродами, при переходе через которые иногда приходилось раздеваться донага. Много затруднений представляла переправа артиллерии, кавалерии и обоза, которые, за недостатком времени для разработки подъемов и каменистости почвы, приходилось втаскивать на канатах. Несмотря на это, адский переход был благополучно совершен, и ногайцы были накрыты врасплох. Это произошло в 12 верстах от Кубани, близ урочища Керменчик. Ногайцы защищались с отчаянием. Произошла жесточайшая сеча на обоих берегах Лабы, впадающей в Кубань, продолжавшаяся, в общей сложности, около 8 часов, но с двухчасовым перерывом вследствие крайнего утомления войск, сделавших ночной переход в 25 верст при весьма трудной переправе. Ногайцы бились с иступлением. Видя свою безысходность, одни убивали жен и детей, другие, находясь при последнем издыхании, тем не менее, употребляли все усилия, чтобы нанести какой-либо вред русским. Бой растянулся на 10-верстное расстояние, причем ногайцев осталось на месте около 4 тысяч человек, да 700 были взяты в плен.

Громадное впечатление произвел этот погром на татар. Большинство ногайских мурз послали Суворову в знак покорности свои белые знамена, раскаивались и обещали вернуться на прежние кочевья. Крымские же татары пришли в ужас и стали тысячами переселяться в Турцию.

Зиму Суворов провел в крепости св. Димитрия, у устьев Дона, где проживала и его семья, пребывавшая раньше в Ейске. В феврале 1784 года последовало признание Портой подданства Крыма и Кубанского края Екатерине II. Вследствие этого Суворову указано было сдать войска и уехать в Москву, где его ждало новое назначение: он получил в командование владимирскую дивизию.

Так закончился целый период сложной, многосторонней деятельности Суворова, еще более упрочивший известность его в глазах беспристрастных наблюдателей и в среде армии. Два же года своего командования дивизией Суворов называет “бездействием”, так как натура его была чисто “боевой”. Не лишено также характеристики, что в этот именно промежуток мирной жизни и хозяйственных занятий по имению он разошелся с женой. Малолетнюю же дочь свою он отдал в институт, но не ученицей, а пока лишь просто под покровительство начальницы института. У Суворова в это время был уже и маленький сын, который, однако, остался пока при матери.

Потемкин перевел Суворова в Петербург и поручил ему командование местной дивизией. Но это было сделано, строго говоря, не для Суворова, а для Потемкина, подготавливавшего в это время *волшебное путешествие*

Екатерины по югу России, причем Суворов был крайне необходим ему, чтобы блестяще и внушительно представить военное дело. Ввиду этого, в октябре 1786 года Суворов по старшинству был произведен в генерал-аншефы и отправлен в екатеринославскую армию для командования кременчугскими войсками, которым предстояло играть видную роль во время путешествия императрицы. По важности момента требовался такой эффект, который свидетельствовал бы о действительном, а не показном только достоинстве войск. И именно потому, что Суворов решительно никогда не поступался боевыми качествами требованиям парадным, Потемкин вполне доверил ему все подготoвление кременчугской дивизии к параднейшему из самых парадных военных смотров. Очевидно, он был очень доволен деятельностью Суворова в этом отношении, потому что поставил его таким образом, что он неоднократно имел случай быть в свите императрицы и даже выступать в активной роли.

Отправляясь для встречи Екатерины в Киев, Потемкин взял в собою и Суворова, который оставался там довольно долгое время, так что вернулся в Кременчуг лишь перед самым выездом императрицы из Киева. Когда Екатерина отдохнула в Кременчуге, Потемкин предложил ей посмотреть войска. Государыню при этом сопровождала громадная свита русских и иностранцев, между которыми было немало действительных специалистов военного дела. Все они, не исключая и самой государыни, отличавшейся несомненным знанием военного дела, были прямо-таки озадачены и поражены происходившим перед их глазами строевым учением на “суворовскую ногу”. Вид у солдат был превосходный; все их движения и действия отличались необычайной живостью и точностью. Словом, получился самый полный и сильный эффект именно потому, что он был естественным следствием происходившего перед глазами зрителей точного, строго методического строевого учения, но с особенными, свойственными Суворову и им введенными приемами.

Благодаря присутствию Двора и съезду иностранцев, прежняя известность Суворова приобрела еще более широкое распространение. Выдвинутый обстоятельствами на одно из самых видных мест, будучи на виду у всех, Суворов продолжал оставаться самим собою, не обуздывая своей страсти к шутовству, остромам, разного рода причудам и выходкам.

В дальнейшем путешествии Екатерины II Суворов также принимал участие и даже был представлен австрийскому императору Иосифу, с которым часто и подолгу беседовал по вопросам и делам военно-политического свойства. Когда императрица из Херсона повернула в Крым, Суворов возвратился к своему посту и сформировал лагерь войск. На

обратном пути он встретил государыню и проследовал в ее свите до Полтавы. Тут были устроены маневры войск, воспроизводившие знаменитую победу Петра над шведами.

В Полтаве Потемкин и Суворов откланялись Екатерине, отправлявшейся в Москву. Потемкину она пожаловала титул “*Таврического*”; Суворову – табакерку со своим вензелем, стоимостью не менее 7 тысяч рублей.

Глава VI. Вторая турецкая война. 1787 – 1790

Победа при Кинбурне. – Разгром турецкого флота. – Неудача под Очаковым. – Штурм Очакова. – Победа при Фокшанах – Разгром турок в Рымнике. – Суворов – граф Рымникский и священной Римской империи. – Взятие Измаила и непримиримая вражда Потемкина

Как известно уже, Турция жестоко поплатилась за опрометчивое объявление войны России по наущениям Франции; тем не менее, Турция более даже чем усугубила прежнюю свою ошибку, вызвав Россию к новой войне. Послушавшись недобросовестных советчиков, Англии и Пруссии, Турция очертя голову потребовала от России возвращения Крыма и уничтожения всех договоров, начиная с кучук-кайнарджиского.

Война была объявлена 13 августа 1787 года. России было не до войны. Она находилась накануне войны со Швецией. С Польшей дела все более осложнялись. С Пруссией были до крайности натянутые отношения. Это именно и имела в виду Турция, деятельно готовившаяся к войне во все время после кайнарджиского мира.

Командовать действующей армией, называвшейся екатеринославской, назначен был Потемкин, бывший теперь уже фельдмаршалом. Другая же армия, так называемая украинская, под начальством фельдмаршала Румянцева, имела своим назначением охрану наших границ и спокойствия в Польше, а также поддержание связи между действующими армиями, нашею и австрийской, двинувшейся в 1787 году к турецким границам. Самый же главный военный район, так называемый херсонес-кинбурнский, был поручен Суворову, находившемуся в наилучших отношениях с Потемкиным и непрерывных сношениях с ним. Потемкин же, между прочим, писал ему: “Мой друг сердечный, ты своею особою больше 10 000 (человек); я так тебя почитаю и ей-ей говорю чистосердечно”.

Турки после первого неудачного нападения на Кинбурн с моря вторично напали на эту крепость и, придвинувшись со стороны Очакова, начали бомбардировать ее. Это безуспешно продолжалось несколько дней с самым незначительным вредом. Турки два раза пытались высадиться, но были отбиты со значительным уроном: один из кораблей был сильно поврежден, другой – взорван с пятьюстами человек экипажа. Так прошло полтора месяца, пока русские, бывшие неподготовленными, достаточно

изготовились, чтобы принять турок соответствующим образом, когда те вновь предприняли бомбардирование кинбурнской крепости 29 сентября, еще более усилившееся тридцатого. Суворов сразу сообразил, что предпринимается нечто серьезное, и запретил своей артиллерии отвечать на турецкий огонь. Видя, что турки желают высадиться на кинбурнскую косу, он принял всевозможные меры, чтобы не мешать им в этом. “Пусть все вылезут”, – повторял он своим приближенным, составив уже общий план действий, аналогичный с тем, что мы видели в Гирсове в 1773 году. Турецкие же суда, подплывая к берегу, немедленно вбивали сваи для ограждения себя от выстрелов. Турки высаживались с шанцевым инструментом, с мешками для песка и немедленно принимались за устройство укреплений. Эти работы никем не нарушались, так что, спокойно окончив их, турки после полудня, не торопясь, сделали омовение и совершили обычную молитву на глазах у русских. Затем началось наступление. Подошли на версту, а передовые под прикрытием берега приблизились к крепости шагов на 200, и только тогда, около трех часов дня дан был залп со всех орудий. Загорелся упорный, ожесточенный бой с переходом успеха то на ту, то на другую сторону. Но в самый серьезный и затруднительный момент боя случилось большое несчастье. Суворов, все время руководивший боем и находившийся в передних рядах одно время даже совсем пешим вследствие ранения лошади, получил картечную рану в бок, ниже сердца, и на некоторое время лишился сознания. Солнце уже стояло низко, и русские два раза были отбиты. Вследствие этого ранение Суворова имело решительное влияние на отступление русских в крепость, которое хотя и было произведено в полном порядке, но с потерей нескольких полковых орудий.

Перед глазами Суворова, находившегося в полусознательном состоянии, проносилась совсем чуждая для него картина: русские войска быстро проходили мимо него в *отступлении*; турки яростно *преследовали отступавших* в крепость, с радостными криками захватывая оставшиеся пушки и увозя их с собою. Тем не менее, Суворов не упал духом и не утратил уверенности в победе, что и обеспечило одну из самых крупных и громких его побед на следующий же день. Стянув все подкрепления, Суворов ударил на неприятеля с такой стремительностью и силой с разных сторон, что последний окончательно был выбит из своих укреплений и сбит в одну кучу на протяжении лишь около полуверсты. Положение турок было тем более ужасно, что у них не было никаких средств к отступлению, так как суда их ушли далеко в море для устранения бегства. Турки, как разъяренные звери, бросались на теснивших их со всех сторон русских и,

тем не менее, умирали массами или тут, на косе, или на море, куда они бросались, желая укрыться за сваями, но где на них градом сыпалась картечь. Поражение было полное. При самом окончании боя раненый Суворов, находившийся все время на поле сражения и управлявший всем ходом его, был снова ранен ружейной пулей в левую руку навывлет.

На следующий день, рано утром, прибыли к косе турецкие суда, чтобы подобрать живых и мертвых под градом пушечных ядер и гранат. Всего судами было увезено не более 700 человек. Высадилось же на кинбурнской косе не менее 5 300 человек.

Невозможно передать, с каким восторгом был принят этот разгром и Потемкиным как главнокомандующим, и в Петербурге. Потемкин, приняв на себя должность главнокомандующего, не имея на это соответствующих задатков, совсем растерялся, не зная, с чего начать, что предпринять, за что и как приняться. А время шло. Бездеятельность же и нерешительность так угнетали его нравственно, что он письмо за письмом посылал императрице с отказом от принятой им на себя обязанности и с просьбой позволить передать главнокомандование Румянцеву, который, бесспорно, был правоспособнее Потемкина в этом отношении. Последний дошел, наконец, до полного *отчаяния*, как это видно из многочисленных писем его к Румянцеву по этому предмету. В одном, например, из таких писем он прямо говорит:

“Ей-Богу, я не знаю, что делать, болезнь угнетает, ума нет”, – и в заключение просит его “повеления – куда доставить нужные бумаги и суммы”(то есть по главнокомандованию действующей армией).

И вдруг – небывало громкая победа именно в его армии!.. Потемкин сразу ожил и преобразился.

“Не нахожу слов изъяснить, – писал он между прочим Суворову, – сколь я чувствую и почитаю вашу важную службу; я так молю Бога о твоём здоровье, что желаю за тебя сам лучше терпеть, нежели бы ты занемог”.

Императрица также была в восторге, называла победу “совершенною” и добавляла: “но жаль, что старика ранили”. Во дворце был большой выход, причем читалась реляция^[2], Екатерине приносили поздравления и отслужили молебен с коленопреклонением. В собственноручном рескрипте

государыни Суворову, между прочим, сказано: “чувствительны нам раны ваши”. По совещании императрицы с Потемкиным Суворов, при вторичном рескрипте, получил орден Андрея Первозванного.

Но Суворов не ограничился только уничтожением турецких войск: он, кроме того, довел еще и турецкий флот до безусловной невозможности действовать в очаковских водах. После кинбурнского погрома зима прошла в полном затишье. Наконец, 20 мая 1788 года появился сильный и многочисленный турецкий флот, остановившийся, однако, в 29 верстах от берега и остававшийся в бездействии. Во главе стоял Гассан-паша, человек даровитый и знающий моряк. Вся русская флотилия, парусная и гребная, вышла из Глубокой и стала в 5 верстах от турецких судов. Неравенство сил резко бросалось в глаза. Русский флот явно уступал турецкому численностью, состоя притом преимущественно из легких судов. Наконец 7 июня турки начали атаку, – и разыгралось дело, окончившееся лишь глубокою ночью неудачей турок. У них два судна были взорваны, третье – сгорело и 18 судов значительно повреждены. Наши потери были незначительны, так как дело велось преимущественно гребной флотилией. Суворов, внимательно следивший за этим морским сражением, быстро составил план для ограждения себя от турецкой флотилии. Он решил воспользоваться кинбургской косой для морских действий на лимане. По его указанию немедленно же приступили к сооружению двух батарей по 24 пушки, устроили ядрокалильную печку – и все это было тщательно сокрыто от глаз неприятеля.

17 июня Гассан-паша после деятельных приготовлений вновь атаковал наш флот с явным намерением уничтожить его и с полной уверенностью в своем успехе. Но он сильно запоздал. Именно в ночь на 17 июня из Кременчуга прибыли 22 новые вооруженные лодки, представлявшие существенно важное усиление нашей флотилии. Завязался упорный, ожесточенный бой, остававшийся без перевеса в ту или другую сторону, пока один из турецких кораблей не был взорван. Это произвело панику в турецкой флотилии, и все суда бросились под защиту Очаковской крепости; но остался, почему-то, один корабль Гассана-паши, который немедленно окружили русские гребные суда и взяли в плен, так что Гассан-паша едва успел спастись. Началось беспорядочное бегство турецкой флотилии, так удачно преследуемой русской, что неприятельские суда одно за другим взлетали на воздух. В конце же концов Гассан-паша решил оставить Очаков и соединиться с той частью эскадры, которая находилась в открытом море. Но едва корабли поравнялись с замаскированными Суворовскими батареями на кинбурнской косе, как по ним совершенно

неожиданно для неприятеля открыли чрезвычайно сильный огонь. С помощью парусов Гассан кое-как вывел свой авангард в море; но остальной части его флота пришлось весьма серьезно поплатиться. С батареей было разбито *семь* судов; всего же истреблено 15 турецких судов да один корабль взят в плен, убитых и раненых со стороны неприятеля до 6 тысяч человек да в плен взято около 1 800. По несоответствию сил Суворов охарактеризовал это, единственное в своем роде морское дело, назвав его "*победою жучек над слонами*". Победа, однако, была *полною и окончательною*.

Суворов, однако, чувствовал себя нехорошо. Ему как человеку боевому и честному прямо-таки было *стыдно* и *обидно* нелепое промедление в отношении Очакова. Государыня также настойчиво требовала немедленного обращения действий на Очаков. Но Потемкин все оттягивал, словно ожидал, что Очаков должен чудом перейти в русские руки. Наконец по прошествии июня подступил к Очакову и Потемкин. На переход 200 верст ему потребовалось пять недель, потому что он был развращенным сибаритом, но не военачальником.

Обложив Очаков, Потемкин вместо немедленного штурма все оттягивал дело, давая этим неприятелю возможность усиливать укрепления, пополнять состав войска и продовольствие. Бездействовал же он потому, что не имел никакого определенного плана осады и штурма. А как человек малодушный, он избегал всяких дельных советов, боясь упрека в несамостоятельности. Такое фальшивое положение угнетало его нравственно. Он называл Очаков "*проклятою крепостью*" только потому, что сам не умел ее взять, а других не подпускал к этому делу.

Особенно же тяжело было положение Суворова, остававшегося в *позорном* бездействии, тогда как он неоднократно уже предлагал взять крепость штурмом. Неудивительно поэтому, что Суворов чрезвычайно обрадовался, когда турки 27 июля сделали большую вылазку на левый фланг осадного расположения, находившийся под его командованием. Столь опытный в военных экспромтах Суворов сразу повел правильный бой с 2 тысячами человек турецкой пехоты, сделавшей вылазку; но число их вскоре же было увеличено подкреплением до 3 тысяч человек. Бой сильно разгорелся и явно клонился в пользу русских войск. Но в это время Суворов получил очень опасную рану пулей в шею и вынужден был передать командование другому. Вместо поддержки Суворова во время боя и немедленного штурма правого фланга неприятеля, совершенно опустевшего во время вылазки, Потемкин не придумал ничего лучшего, кроме посылки *четырёх* приказаний Суворову немедленно прекратить бой

и отступить. В четвертый же раз от Суворова потребовали ответа на грозный вопрос: *“Как он осмелился без повеления завязать такое важное дело?..”* у Суворова в это время извлекали пулю, и он спокойно ответил:

*“Я на камушке сижу,
На Очаков я гляжу...”*

Суворов, конечно, не мог уже оставаться на своем посту под Очаковым и дня через три уехал в Кинбурн совершенно больной, с лихорадкой и обмороками. Но там сним случилось еще и другое несчастье. В кинбурнской крепости без его ведома снаряжались гранаты и бомбы для очаковской армии. Едва Суворов стал немного поправляться, как 18 августа в лаборатории, где производилось это недозволенное “снаряжение”, произошел страшный взрыв, угрожавший даже всей крепости и сильно поранивший Суворова в лицо, грудь, руку и ногу.

Потемкин же все тянул и тянул осаду Очакова, названную Румянцевым в насмешку *“осадою Трои”*. Наступила особенно лютая зима, с морозами свыше 20 градусов, так и названная в народе *“очаковскою”*. Солдаты буквально мерзли в землянках, так что от одной стужи убывало по 30 – 40 человек в день. Войска терпели страшную нужду во всем. Солдаты, доведенные до отчаяния, просили о штурме. Но даже и это не подействовало. По армии пошел ропот, дошедший, конечно, и до Потемкина... Штурм состоялся 6 декабря, при 23 градусах мороза, и отличался возмутительнейшей жестокостью. Продолжался он всего час, но сопровождался истинно зверской жестокостью, обратив город в сплошную могилу. Город, отданный на трехдневное разграбление, был совершенно razoren. За это Потемкин получил давно желанного им Георгия 1 класса с бриллиантовой звездой, шпагу, усыпанную бриллиантами, и 10 тысяч рублей. В представлении о наградах был помещен также и Суворов, получивший за поражение флота под Кинбурном бриллиантовое перо в шляпу с буквой К, большой ценности.

Потемкин был так сильно задет Суворовым в своем “властительном самолюбии”, что решил оставить его в *тени забвения*, затереть. Ввиду этого, при распределении генералитета по войскам обеих армий на 1789 год, Потемкин вовсе не внес Суворова в списки. Последний, своевременно узнав об этом, быстро прибыл в Петербург, представился государыне, поклонился ей, по обыкновению, в землю, жалобно проговорив:

– Матушка, я – прописной!..

– Как это? – спросила Екатерина.

– Меня нигде не поместили с прочими генералами и ни одного капральства не дали в команду.

Екатерина сразу поняла, что это – проделка Потемкина. Высоко ценя военные достоинства Суворова, императрица сама назначила его в армию Румянцева. Получив назначение 25 апреля, Суворов немедленно отправился к месту нового своего служения и вступил в командование дивизией, расположенной между Прутом и Серетом. Тут произошла перемена в начальствовании. По проискам Потемкина, ему, совместно с екатеринославскою армией, было предоставлено командование также и малороссийской, бывшей под начальством графа Румянцева, который остался *не у дел*.

Вскоре после прибытия Суворова на театр войны стало известно, что турецкий корпус под начальством Османа-паши предпринял наступление на Фокшаны, чтобы разбить сначала австрийцев (объявивших войну Турции еще в 1788 году, но почти ничего не сделавших в течение года), а потом – наброситься на русских. Командовавший левой частью австрийской армии принц Кобургский обратился к Суворову как ближайшему русскому военачальнику с настойчивой просьбой о подкреплении. Суворов ответил, что выступает немедленно (16 июля), и действительно почти через сутки русские войска были уже на новом месте, пройдя 50 верст (в 28 часов) по невообразимо дурной дороге. Эта быстрота изумила принца и австрийские войска. Но еще более был изумлен Кобургский, когда наступило время совещания о плане действия (18 июля). Три раза просил он у Суворова свидания и каждый раз получал отказ под разными предлогами. Кобургский был поражен этим и не знал, чем объяснить. Наконец в 11 часу вечера он получил от Суворова записку на французском языке следующего содержания:

“Войска выступают в 2 часа ночи, тремя колоннами; среднюю составляют русские. Неприятеля атаковать всеми силами, не занимаясь мелкими поисками вправо и влево, чтобы на заре прибыть к реке Прутке, которую и перейти, продолжая атаку. Говорят, что турок перед нами тысяч пятьдесят, а другие пятьдесят – дальше; жаль, что они не все вместе, лучше бы было покончить с ними разом”.

Кобург колебался в принятии этого к исполнению; но боевая репутация Суворова заставила уступить. Потом само собою разъяснилось,

что Суворову не о чем было советоваться с Кобургским, так как он имел уже совершенно готовый план, оказавшийся в исполнении блистательным.

Те самые австрийцы, громадные армии которых турки победоносно разносили не далее, как в 1788 году, теперь, под указанием и руководством Суворова, сражались стойко, мужественно, победоносно. Вследствие дружного действия союзной армии (7 тысяч русских и 18 тысяч австрийцев), 10-часовой бой при Фокшанах имел самые печальные последствия для громадной турецкой армии, понесшей жестокое поражение. После боя Суворов и Кобургский, вовсе не выдававшиеся раньше, съехались, сошли с лошадей, обнялись и крепко расцеловались. Примеру их последовала свита. Затем радушные взаимные поздравления и пожелания слышались при каждой встрече русских и австрийцев. Победа при Фокшанах произвела сильное впечатление при обоих дворах. Екатерина даже заплакала от удовольствия. Суворов был награжден бриллиантовым крестом и звездой к ордену Андрея Первозванного. От австрийского же императора он получил богатую табакерку с бриллиантовым шифром, при очень любезном рескрипте. И после фокшанской победы Суворов по обыкновению взывал о наступательных действиях. Вот что, например, писал он об этом в официальном порядке:

“Отвечаю за успех, если меры будут наступательные; оборонительные же – визирь придет. На что колоть тупым концом вместо острого?”

Оказалось даже, что руководители дела, Потемкин и Репнин, имели совершенно превратные понятия о движении армии великого визиря. Суворов же на свой страх и риск передвинул войска так, что они заняли среднее положение между Галацем и Фокшанами. Это оказалось вполне соответствующим движению великого визиря, который, собрав огромное количество войска, перешел Дунай у Браилова и двинулся к Рымнику.

Принц Кобургский был в ужасе от этого движения, так как великий визирь шел прямо на него. Он вторично взмолился к Суворову о помощи (6 сентября), – и Суворов опять-таки своевременно пришел на помощь (10 сентября). Совсем упавшие было духом австрийцы с восторгом встретили русских, как своих избавителей. И в Рымнике, как и в Фокшанах, наступательный переход был сделан в ночную пору, неожиданно для неприятеля. Неприятель был расположен в четырех укрепленных лагерях, занимавших сильные, выгодные позиции. Численность неприятельской армии (около 115 тысяч человек) более чем в четыре раза превосходила

совокупность союзных войск (около 25 тысяч человек).

Бой начался с восходом солнца 11 сентября и упорно продолжался весь день, хотя победу можно было считать уже обеспеченной в 4 часа пополудни. Во время сражения великий визирь находился все время при деле. Страдая изнурительной лихорадкой, он разъезжал в коляске. Но когда бой разгорелся и начал принимать неблагоприятный оборот, визирь в сильном нервном возбуждении сел на коня. Он употреблял все усилия, чтобы собрать войска и направить их в бой, убеждал их священными для мусульман именами, поднимал и показывал Коран, даже прибег к силе, приказав артиллерии стрелять по беглецам. Было сделано 10 выстрелов, – и никакого результата, убедившись в безнадежном нравственном потрясении своих войск, визирь поспешно уехал.

Победа при Рымнике – одно из самых замечательных проявлений суворовского военного дарования во всем его объеме. Это – образцовейший и блестящий пример победы *не числом, а духом армии*. Это было так ясно, что войска Кобургского не могли даже скрыть своего изумления и восторга от смелости и верности *наступательного принципа* Суворова, дав ему симпатичную кличку: *“генерал вперед”*. И в глаза, и за глаза австрийцы с восхищением утверждали, что “русские войска непобедимы”, что “перед ними *все должно пасть*”.

Суворов придавал рымникской победе особенное значение и характерно оттенил перед всеми войсками выдающееся ее значение в качественном отношении. Он ознаменовал эту победу совершенно своеобразным торжеством. Войска были собраны на поле сражения для слушания молебна в одно большое каре, причем каждый воин, по приказанию Суворова, имел при себе зеленую ветвь. По окончании молебна Суворов сказал войскам речь о значении победы, чести, славы и лавров, приказав каждому из бывших в строю увенчать себя победной ветвью.

Потери турок 11 сентября простираются до 15 тысяч убитыми. Взято 108 знамен, 80 орудий, целые стада скота, несколько тысяч повозок с разного рода имуществом. Вообще добыча громадная, из четырех неприятельских лагерей, из которых один – собственно визиря, с его богатейшей ставкой, убранной золотой и серебряной парчой. В ответ на донесение Суворова о победе Потемкин писал ему:

“Объемлю тебя лобызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность. Ты, мой друг любезный, неутомимою своею ревностью возбуждаешь во мне желание

иметь тебя повсеместно... Если мне слава, слава, то вам честь честью...”

Государыня была в неопишемом восторге. В придворной церкви был отслужен молебен, при громаднейшем съезде, с пушечным салютом в 101 выстрел. Архиереи говорили поздравительные речи. Екатерина цитировала даже письмо Суворова к его дочери-институтке, в котором говорилось, между прочим, что рымникская победа совпала с днем поражения им Огинского. Не менее был доволен победой и император Иосиф, который в рескрипте Суворову прямо сказал:

“Совершенно признаю, что я победой обязан наипаче вашему скорому соединению с принцем Кобургским”.

Согласно представлению Потемкина Суворов получил: графский титул с прибавлением “*Рымникский*”, орден Георгия 1 степени, бриллиантовый эполет и богатейшую шпагу. Кроме того, государыня прибавила еще перстень. Австрийский император пожаловал Суворову графский титул священной Римской империи. Но больше всех был признателен Суворову принц Кобургский, открыто называвший его своим *учителем* и получивший именно благодаря Суворову звание фельдмаршала. Сам Суворов был также в восторге от наград. В письме к дочери своей, институтке, с которой он находился в особенно деятельной переписке в эту пору, он с понятной гордостью называет ее “*графинею двух империй*” и говорит о себе, что “*чуть, право, от радости не умер*”...

Возвратившись на прежнюю позицию, Суворов скрепя сердце вынужден был отделить часть своих войск Потемкину, который, окончательно успокоившись насчет армии великого визиря, истрепанной Суворовым, занялся *подбиранием* турецких крепостей. Наконец армия Потемкина обложила Бендеры, крепость большую, сильную, с многочисленным гарнизоном. Но командующий паша сдал ее Потемкину и сам остался у русских. Суворов, поздравляя Потемкина, очень *ядовито* заметил, что в течение всего истекавшего столетия *ни одна* турецкая важная крепость “не сдавалась русским *так приятно*”. Государыня наградила Потемкина великолепным золотым лавровым венком, написав ему при этом:

“Недаром я тебя любила и жаловала... Ты совершенно оправдал мой выбор и мое о тебе мнение: ты отнюдь не

хвастун”...

Несомненно, что в 1789 году было место для “золотых лавров”, но – увы – необходимо признать, что они попали *совсем не на ту голову!*.. Эти лавры были бы под стать *только* Суворову как исключительному избраннику и любимцу *Победы*...

После Рымника Суворов, больше чем когда-либо, был за наступление и составил прекрасный план похода за Дунай; но Потемкин не дал даже ответа на этот смелый и остроумный план. Он тормозил всякий живой почин, живя в Яссах и Бендерах с роскошью не военачальника, а владетельного государя, с блестящим двором, азиатскою пресыщенностью и роем красавиц, не уступавшим любому гарему, но только – вполне открытому.

Чрезвычайно резкую противоположность этому представлял образ жизни Суворова, который явно чуждался главной квартиры, вовсе даже не посещая ее, называя весь ее состав и штат “*хороводом трутней*”. Обыкновенно очень скромный образ жизни Суворова на зимних квартирах, с обстановкой, доходящей даже до отрицания всякого комфорта, во время кампаний принижался до лагерного, даже бивачного солдатского обихода. У Суворова не было никаких столовых принадлежностей. Обыкновенно он одевался в куртку из грубого солдатского сукна. В жаркое время, как на походе, так и в бою, он бывал в рубашке, к которой пристегивались некоторые из его орденов. Даже во время боя казак возил за ним его большую саблю; Суворов же имел в руках одну нагайку. У него не было ни экипажа, ни верховых лошадей; ездил же он на казацкой лошади.

Проведя всю зиму в боевом бездействии, Суворов, тем не менее, вел замечательно деятельную жизнь, как никто другой во всей армии. Прежде всего он деятельно занимался обучением войск, часто объезжал и осматривал их. Оставаясь же дома, он весь уходил в чтение, серьезно занимаясь притом изучением Корана и татарского языка. Немало времени отнимала и переписка, которую он вел в эту пору с массой людей.

В это время политический горизонт Европы изменился так. Под влиянием Пруссии Австрия вышла из союза с Россией. Со Швецией был заключен мир. Адмирал Ушаков одержал решительную победу над турецким флотом близ Гаджибея (нынешней Одессы). Новый великий визирь собрал большое войско и явно намеревался открыть военные действия. К концу ноября небольшие крепости: Килия, Тульча и Исакача были в руках русских. Вместе с тем была истреблена и турецкая гребная флотилия. Оставался еще Измаил, несомненно грозная твердыня, которая

была обложена уже с 18 октября. Но от этого обложения ровно ничего не выходило, кроме ссор, препирательств между военачальниками, да непопустительной потери времени, слишком дорогого вследствие приближения зимы. Ввиду этого Потемкин послал 25 ноября Суворову предписание:

“Предпринять на овладение Измаила, для чего ваше сиятельство изволите поспешить туда, для принятия всех частей в вашу команду”. В другом письме, отправленном в тот же день, Потемкин между прочим говорит Суворову: “Моя надежда на Бога и вашу храбрость, поспеши, мой милостивый друг”...

Все, до последнего солдата включительно, на месте осады нисколько не сомневались, что “как только прибудет Суворов, – крепость возьмут штурмом”. Наоборот, во мнении массы населения Измаил прямо-таки считался крепостью *неприступною*, так что сама попытка взять его казалась *безумием*.

Рано утром 2 декабря Суворов был уже под Измаилом, сделав более чем 100 верст пути вдвоем с казаком, везшим в узелке весь багаж графа. Он уехал вперед от своего конвоя, чтобы по возможности ускорить прибытие к Измаилу. Его узнали на русских аванпостах, и с батареей раздалась приветственная пальба. Все разом оживилось и обрадовалось. По общему, единодушному убеждению, в лице Суворова, бывшего теперь уже низеньким, сухощавым, невзрачным стариком, к ним “*явилась сама победа*”.

Осмотревшись на месте, Суворов воочию убедился в исключительной трудности предстоящего ему подвига. Крепость была первоклассная. Защищала ее целая армия не менее 35 тысяч человек, которым была обещана султаном *смертная казнь* в случае сдачи Измаила. Главным начальником был Айдос-Мехмед-паша, старый воин, человек твердый, закаленный в боях.

Ничего этого не скрывал Суворов от солдат, а, напротив, прямо говорил им: “Валы Измаила высоки, рвы глубоки, а все-таки надо его взять”. Солдаты единодушно поддерживали хором, что с ним они непременно возьмут эту крепость.

Ввиду исключительной трудности предстоящего штурма Суворов ввел специальное обучение штурму именно этого рода. Выбрав место в отдалении, он приказал насыпать вал и вырыть ров. Здесь солдаты в ночное время тайно от турок упражнялись в перехождении через рвы и в

овладевании валами, в быстром и разумном пользовании заготовленными в громадном количестве большими фашинами (около 2 тысяч) и штурмовыми лестницами. Но самым существенным *подготовлением* к штурму были объезды Суворовым своих полков и его беседы с командами, как только он один и умел беседовать с войсками вообще и солдатами в частности. Когда же все приготовления к штурму были окончены, Суворов послал измаильскому сераскиру^[3] следующую характерную записку:

“Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление – воля; первый мой выстрел – уже неволя; штурм – смерть. Что оставляю вам на рассмотрение”. Один из адъютантов паши, принимавший этот ультиматум, сказал: “Скорей Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил”.

Штурм был назначен на 11 декабря. В 3 часа ночи, по ракете, войска направились к назначенным по диспозиции пунктам. В 5 с половиной часов утра, при густом тумане, начался штурм одновременно со всех сторон. В соответствии с особенностями и условиями отдельных пунктов, в разных местах дело подвигалось с разной быстротой и степенью успешности, но при повсеместном упорнейшем сопротивлении турок. К 8 же часам утра вся ограда крепости находилась уже в руках русских. Потеря людьми была большая, так что в войсках заметно было даже расстройство; между тем, впереди предстоял еще жесточайший бой внутри города, так как турки группировались большими массами с видимой готовностью к отчаянной обороне.

Когда рассвело, численное неравенство противников стало заметно. Это представляло величайшую опасность, особенно же ввиду того, что русские войска были растянуты в линии вокруг всего города, а неприятель, по желанию, мог действовать массами в отдельных местах. Чтобы не дать возможности туркам опомниться, войска с чрезвычайной поспешностью были построены в боевой порядок и направлены продолжать атаку. Эта именно находчивость и спасла русское войско; иначе же оно поголовно все нашло бы себе могилу в Измаиле.

Завязался не поддающийся описанию жесточайший и упорнейший бой, с которым даже и ночной штурм не мог идти в сравнение. Это было не общее сражение, а непрерывная *цепь битв*, образовавших в общем сплошное кольцо вокруг всего города. Каждая улица и переулок были местом боя; на площадях происходили настоящие сражения; дома

приходилось отдельно штурмовать, как замки и маленькие крепости. Живое кольцо русских войск более и более сжимало неприятелей к центру города. Усилия были необычайные и жертвы громадны. Тем не менее к часу дня был занят весь город, а к 4 часам пополудни все уже было кончено. Пал и геройский начальник Измаила Айдос-Мехмет, сраженный 16 штыковыми ударами.

Здесь не просто *крепость взята*, а *истреблена* сильная, отборная неприятельская армия, прекрасно вооруженная и сидевшая в крепчайших каменных стенах, – *истреблена меньшинством*, хуже ее вооруженным, которому можно было добраться до армии только через отвесные каменные стены. Как же могло так случиться? Почему?! Вообще измаильский штурм представляет совершенно исключительное явление по необычайному, просто нечеловеческому упорству и ярости турок. И они были сломлены и пали только потому, что встретили в русских войсках самую высокую степень духовного возбуждения, поддерживавшего все время в них величайшее напряжение энергии и такую степень *храбрости*, которая доходила даже до *полного заглушения чувства самосохранения*.

Убитыми у турок оказалось 26 тысяч человек; в плен взято 9 тысяч человек, из которых на другой же день умерло 2 тысячи. Пушек досталось 265, знамен 364; пороху 3 тысячи бочек; боевых запасов, продовольствия и фуража – огромное количество; лошадей 10 тысяч голов. Со стороны русских убито 4 тысячи и ранено 6 тысяч. Войска получили громадную добычу, названную в донесении Потемкина Екатерине “*чрезвычайною*” и исчисленную *более чем в миллион рублей*. Суворов же, по обыкновению, ни до чего из добычи не коснулся, отказавшись от всего, что ему предлагали и приносили. Недаром солдаты с гордостью говаривали: “*Наш Суворов в победах и во всем с нами в паю, только не в добыче*”.

Сокрушение Измаила имело громадное политическое значение. Путь русским на Балканы был открыт. На турок напала невыразимая паника. Императрица смотрела на падение Измаила, как на “*дело, едва где в истории находящееся*”. Изумлению и восторгам русского общества не было границ, что выразилось в длинном ряде произведений русских поэтов, начиная с Державина, в честь Суворова. Суворов сделался предметом всеобщего внимания и уважения как человек, оказавший России величайшую услугу, как замечательный герой и русский богатырь. Но к величайшему удивлению за такую услугу он вовсе не получил никакой награды. Требовалось оценить и наградить именно взятие неприступной крепости и истребление неприятельской армии, но вышло нечто более чем странное и неприличное: как бы *полное умолчание* об этих именно его

заслугах, *игнорирование* их... Даже и теперь, более чем через сто лет уже, трудно читать без *негодования* и *стыда* следующее представление Потемкина Екатерине о Суворове:

“Если последует высочайшая воля сделать медаль Суворову, то этим будет награждена служба (*заслуги?!)* его при Измаиле. Но так как из генерал-аншефов он один находился в действиях в продолжении всей кампании и, можно сказать, спас союзников, ибо неприятель, видя приближение наших, не осмелился их атаковать, то не угодно ли отличить его чином гвардии подполковника или генерал-адъютантом”.

Выходит, таким образом, что при всем нежелании Потемкина назвать по именам действительные заслуги Суворова, все-таки даже и то *немногое*, к чему временщик усиливался недобросовестно свести дело рук героя, так велико, что форма награждения прямо-таки оскорбляет своим ничтожеством и кажется *необъяснимою нелепостью*.

Для понимания причины этой возмутительной выходки Потемкина необходимо иметь в виду следующее столкновение Суворова с Потемкиным в Яссах, куда Суворов заезжал по пути в Петербург. В ожидании приезда измаильского героя Потемкин приготовился к торжественному приему его. По улицам были расставлены сигнальщики; адъютанту было приказано не отходить от окна, чтобы успеть своевременно известить Потемкина. Вероятно, Суворов заблаговременно узнал о готовящейся торжественности и помешал этому. Он въехал в Яссы ночью, никем не замеченный, и прямо отправился на ночлег к старому своему приятелю, полицмейстеру, которого и просил не разглашать о приезде. Утром, одевшись в парадную форму, Суворов в старинной колыхаге своего хозяина отправился к Потемкину. И никто из встречных, а тем более сигнальщики не узнали его. Только дежуривший у окна адъютант не дался в обман, и если не узнал Суворова, то предположил его и сообщил об этом своему патрону. Потемкин устремился на лестницу, но Суворов предупредил его: в несколько прыжков взбежал на лестницу и очутился около всесильного. Они обнялись и несколько раз поцеловались.

– Чем могу я наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич? – спросил Потемкин, видимо довольный свиданием.

– Ничем, князь, – раздраженно ответил Суворов. – Я – не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме Бога и Государыни,

никто меня наградить не может.

Потемкин, видимо смущенный таким ответом, побледнел, повернулся и пошел в зал. Суворов – следом за ним. Здесь он подал строевой рапорт. Потемкин холодно принял его. Оба молча рядом походили по зале, не будучи в состоянии выжать из себя ни единого слова. Затем раскланялись и разошлись.

В пояснение этого необходимо заметить, что Суворов, в течение десятков лет упорно боровшийся с обстоятельствами, чтоб находить исход своим силам, не мог не сознавать, что Потемкин роковым образом стоит у него на дороге и берет на свою долю львиную часть из добываемых им наград, славы и почета. Так, например, именно Суворов заслужил фельдмаршалство, а Потемкин получил его. Мудрено ли, что в тот момент, когда было совершено труднейшее из военных дел, вопрос: “чем могу я наградить?” – перевернул душу исстрадавшегося гения, ограбленного в заслугах, наградах и славе...

Глава VII. Инженер поневоле. 1791 – 1794

Суворов и Потемкин в Петербурге. – Деятельность в Финляндии и крайняя неудовлетворенность ею. – Пребывание в Херсоне. – Новый выход к боевой деятельности

Интриги Потемкина помешали великому мастеру военного дела Суворову, доведшему искусство бить турок до виртуозности, окончить войну с ними; это исполнено другими, но с меньшей, конечно, талантливостью и не с такой пользой для России, какую предполагал Суворов в своих проектах по этому поводу.

Прибыв из Ясс в Петербург, Суворов впервые узнал о злобной мести Потемкина. Три месяца прожил он в Петербурге, в уверенности, что славная его боевая служба предшествовавшего года будет признана и оценена по достоинству. Но, наконец, ему пришлось воочию убедиться прямо в обратном. В Петербург приехал также и Потемкин. На него, все время мешавшего ходу войны, словно из рога изобилия сыпались всевозможные знаки милости и предосудительной щедрости. Суворов же оставался в глубокой тени.

В Петербурге готовилось роскошнейшее торжество в честь славных военных подвигов, главным же образом – по поводу взятия Измаила. Конечно, раз устраивалось чествование, то именно *достойному* (то есть Суворову) и должно бы быть воздано достойное. Потемкин же сделал по этому поводу новое злодеяние Суворову. Празднество назначено было 28 апреля, а Суворов 25 апреля получил от Потемкина же повеление государыни “объехать Финляндию до самой шведской границы” и “проектировать систему пограничных укреплений”.

Не говоря о безумной роскоши, с которой было устроено *подложное* торжество 28 апреля, нельзя не возмущаться той беспримерной расточительности, с которой был награжден Потемкин. Он получил в собственность: Таврический дворец, оцененный в 500 тысяч рублей; 200 тысяч рублей наличными деньгами и фельдмаршальский мундир, унизанный по швам бриллиантами и представляющий поэтому *баснословную ценность!*.. В общем, таким образом, все полученное Потемкиным составляет около *миллиона рублей*. Кроме того, положено соорудить ему же обелиск в царскосельском парке... Между тем Суворов – виновник не одной только измаильской победы, но и длинной цепи остальных, наиболее решительных побед над турками, – не только ничего

не получил, но и очутился в положении как бы опального человека. В то время, например, как Потемкин утопал в роскоши в Петербурге и упивался славой, поистине великий и заслуженнейший Суворов в суровую финляндскую весну разъезжал, – по капризу и прихоти Потемкина, – в санках и таратайках по диким захолустьям русско-шведской границы, вынося лишения, которых военный человек высокого положения не должен бы знать даже и в военное время.

Суворов исполнил порученное ему сложное и трудное дело менее чем в четыре недели. По поводу представленного им проекта укрепления границы 25 июня последовало высочайшее ему повеление: “Полагаемые вами укрепления построить под ведением вашим”. Значит, постройка – по заказу: хочешь – не хочешь, а строй. Это, конечно, новая *немилость*, только *замаскированная*...

Суворов действительно был знатоком инженерного дела и немедленно принялся за работу. Хотя у него решительно не лежала душа к деятельности этого рода, и даже он прямо-таки тяготился ею, тем не менее, он в течение полуторагодичного пребывания в Финляндии исполнил в существенных чертах весь свой план.

Государыня с полным одобрением относилась к строительным трудам Суворова, что неоднократно и выражала ему. Но в сущности это не изменяло тяжелого нравственного положения Суворова, вынужденного исполнять работу, к которой у него не было ни малейшего влечения. Seriously ища выхода из этого противоестественного положения, он задавался даже вопросом о “чужой службе” (то есть в иностранных государствах), думал об этом весьма серьезно и – как увидим ниже – неоднократно подавал прошения на высочайшее имя. Но главное, что” удручало дух Суворова, это – “*измаильский стыд*”, как называл он непризнанный и неоцененный по достоинству измаильский его подвиг. Скоропостижная смерть Потемкина от беспорядочной жизни (в 1791 году в дороге из Ясс в Николаев) послужила поводом к некоторому оживлению надежды на искупление этого действительно “*стыда*”.

Действительно, в марте 1792 года на имя Суворова последовал высочайший рескрипт, в котором, между прочим, сказано, что болезнь Потемкина помешала исполнить высочайшее повеление о награждении измаильских героев, почему Суворову и повелевается сделать дополнительное представление. Но это не могло залечить душевной раны Суворова, так как это не восстанавливало истинного значения его заслуг и ничего не давало ему в смысле награды. Поэтому он высказал, что считает измаильский штурм *оцененным не по достоинству*, и напомнил, что если

бы он выпустил турок из крепости на капитуляцию, это было бы признано слишком малым; рискуя же на штурм, – *ставил на карту и жизнь свою, и репутацию*.

10 ноября того же года последовал новый рескрипт о замене финляндских построек другими, да притом еще своих собственных построек – *чужими*. Согласно этому повелению под начальство Суворова поступили войска в Екатеринославской губернии, в Крыму и во вновь присоединенных землях. При этом Суворову поручалось укрепление границ по проектам инженера де Волана. Кроме того, требовалось и мнение Суворова на случай оборонительной и наступательной войны в Финляндии.

Таким образом, это новое поручение несомненно свидетельствовало о доверии государыни к Суворову, о сочувствии его работам и об одобрении их. Суворов же истинным “делом” лично для себя признавал *только войну*. И если он не отказался от нового назначения, то исключительно потому, что на юге России он более надеялся найти выход к “*истинному делу*”, к “*практике*”, то есть к боевой деятельности, без которой он при каком бы то ни было другом роде занятий положительно *замирал*. Ввиду этого он по обыкновению поспешно собрался и выехал в Херсон в конце ноября. Во время пребывания в Херсоне он был хорошо поставлен в ряду местных властей, военных и гражданских. Тем не менее – повторяем – это крупное и важное дело решительно не удовлетворяло его, так как воинственные порывы и стремления его не имели выхода и должного практического применения. Положение свое он называл “*тиранством судьбы*” и прибегал к самым решительным мерам, чтобы выйти из такого состояния. Так, в 1793 году он подал государыне прошение об увольнении его, – “по здешней тишине” и “отсутствию практики”, – *волонтером* в союзные войска на всю кампанию. Тогда, как известно, под влиянием казни французского короля Людовика XVI образовалась значительная коалиция для борьбы с французской революцией. Суворов, давно уже с нетерпением следивший за революцией во Франции, сгорал нетерпением сразиться с революционерами, победоносно разгуливавшими на западе и юге Европы. Вот почему он и просился именно в союзные войска. Хотя государыня и задержала его, тем не менее, он решил, что если при первой же войне России он не будет назначен начальствующим армией “без малейших препон”, непременно отправится за границу. А потому, когда в Польше вспыхнула в 1794 году революция, вызванная вторым ее разделом, и Суворов опять-таки остался не у боевого дела, он 24 июля отправил государыне следующее прошение:

“Всепоподданнейше прошу всемилостивейше уволить меня волонтером к союзным войскам, как я много лет без воинской практики по моему званию”.

Императрица *вторично* отказала, но дала ему некоторую надежду на боевую службу дома.

“Объявляю вам, – ответила она Суворову, – что ежечасно умножаются дела дома, а вскоре можете иметь, по желанию вашему, практику военную много. Итак не отпускаю вас поправить дела ученика вашего (то есть принца Кобургского), который за Рейн убирается по новейшим вестям, а ныне, как и всегда, почитаю вас отечеству нужным”.

Екатерина действительно даже и не думала посылать самого даровитейшего из своих полководцев против поляков. Главная роль там была предоставлена князю Репнину, находившемуся в близком соседстве с польским театром войны, хотя, конечно, Екатерине было известно, что он – человек малодаровитый, медлительный и нерешительный. Очевидно, императрица все еще продолжала находиться под влиянием гнусных, клеветнических наветов Потемкина на Суворова.

Из этих “*клеветских*” *тенет* Суворову помог выпутаться Румянцев. Он был единственным человеком, к которому Суворов чувствовал преданность и уважение, не внешнее, как к Потемкину, представлявшему собою только силу и власть, а внутреннее, чуждое всяких расчетов, основанное на признании в нем достоинства. И Румянцев понимал Суворова лучше всех других. Справедливая оценка все более возрастала с годами.

Суворов, в конце концов, дошел до *полного отчаяния*, что и за границу *не пускают*, и дома “дела” *не дают*, тогда как оно есть именно для него. В это время судьба сжалась над ним и послала ему Румянцева. Как только восстание начало проявляться в Польше, последовало высочайшее повеление 27 апреля, что “требуется общая связь в охранении границ польской и турецкой”; поэтому графу Румянцеву было поручено “общее начальство над всеми войсками” тех районов, которые прилегают и к Турции, и к Польше. Значит, район Суворова к великой его радости вошел в ведение Румянцева.

Прежде всего необходимо было обезоружить так называемые “польско-русские войска” (перешедшие к нам вместе с отторгнутыми

польскими провинциями). Эту операцию нужно было выполнить *безотлагательно, одновременно и повсеместно*. Так именно и поступил Суворов. Разоружение 8 тысяч человек на протяжении нескольких сот верст, начатое им 26 мая, было закончено 12 июля в полном порядке и спокойствии, причем не ушел за границу ни один воин-поляк с оружием. Румянцев был вполне доволен таким выполнением этого сложного и трудного дела. Он донес императрице, которая, поблагодарив его, поручила передать ее благодарность и Суворову.

С этой поры разочарованный, оскорбленный и доведенный до отчаяния Суворов возложил всю свою надежду на Румянцева – и не ошибся. Действительно, этот последний был способен и на совершенно самостоятельный шаг, если этого требовали обстоятельства. Именно в отношении Суворова он так и поступил. Когда определилось, что противодействие полякам затягивается, а поляки, наоборот, обнаруживают большую энергию и хорошо обучены, когда выяснилась вероятность затяжки войны и на будущий год, – Румянцев, вопреки намерениям кабинета и даже вовсе не сносясь с Петербургом, решил на свой личный страх и риск отправить на театр войны Суворова.

7 августа последовало предписание на имя Суворова об отправке его на театр войны с изложением главнейших оснований дела. Румянцев дополнил этот официальный документ признанием, что Суворов “всегда был ужасом поляков и турок”, что “имя его подействует лучше многих тысяч”. 14 августа Суворов выступил в поход.

Глава VIII. В польше во время и после войны. 1794 – 1795

Состояние польского театра войны при назначении Суворова. – Уничтожение отряда Сераковского. – Бой при Кобылке. – Пражский разгром. – Капитуляция Варшавы. – Разоружение и умиротворение Польши

Вторичный раздел Польши (в 1793 году) сильно взволновал многочисленных польских магнатов, проживавших за границей в качестве эмигрантов. У них, наконец, сильно заговорило патриотическое чувство вместе с жадой мщения. В это время явился литвин Тадеуш Костюшко, горячий патриот, человек даровитый в военном отношении и с высокими нравственными качествами. Он был избран главным вождем восстания, а затем возведен в генералиссимусы. Опубликование им инсurreкционного ^[4] акта несомненно вызвало движение во всей разделенной Польше, а тем более – в части, доставшейся России. Он провозгласил всеобщее вооружение, произвел разные экстренные сборы, возвысил налоги. Организованная им армия была разделена на корпуса и распределена по важнейшим пунктам.

К тому времени, как прибыть Суворову на польский театр войны, дело там представлялось в таком виде. Энергичный и распорядительный Костюшко в ожидании русских войск деятельно трудился над укреплением варшавского предместья Праги. ^[5] Поляки были полны хороших надежд и ожиданий, так как у них имелись хорошее вооружение и обученное войско, большой подъем патриотического чувства в войсках, целый ряд даровитых военачальников, самоотверженно преданных делу.

Эта польская война заслуживает особенного внимания в том отношении, что Суворов самостоятельно создал все ее условия. Так, например, обратившись к предписанию Румянцева 7 августа, находим, что им вменено в обязанности Суворову только “сделать сильный отворот дерзкому неприятелю со стороны Бреста, подлясского и троцкого воеводств”, “дабы облегчить движение военных целей в других частях театра войны”. Очевидно, таким образом, что Суворову, строго говоря, была поручена только демонстрация, так как истинная активная роль “велением” Петербурга была отдана именно “другим частям”, которые бездействовали не только до появления Суворова, но даже и во время

самого крайнего обострения его деятельности, не исключая притом и таких моментов, – как увидим ниже, – когда он находился в крайне рискованном положении и в высшей степени нуждался в подкреплении войск. Суворов же смело взялся за порученное ему маленькое, по-видимому, *третьестепенное* дело не только с уверенностью сделать его *первостепенным* и *решающим* на театре войны, но даже и с готовым планом в этом направлении. Таким образом, польскую кампанию можно назвать наиболее характерным проявлением творчества военного гения Суворова.

Отправляя Суворова на театр войны, Румянцев не только не мог определить роли Суворова, но не мог даже точно означить количество войск, необходимых ему, предоставив это распорядительности самого Суворова. И последний, отправившись в путь (14 августа) всего лишь тысячами с четырьмя войска, прибыл на театр войны с отрядом в 12 – 13 тысяч человек, постепенно стянув к себе разные части войск по пути. Но Суворов соединил эти разношерстные войска не только физически, но и нравственно. Тем частям войск, которые никогда не были под его командованием и незнакомы с его военной школой, он разослал составленное им военно-педагогическое наставление, справедливо называемое иначе “*военным катехизисом*” (“Наука побеждать”), с обязательством, чтобы офицеры и унтер-офицеры выучили его наизусть, а нижним чинам – читали ежедневно. И войска обыкновенно твердо выучивали это “наставление”, так как оно осмысливало им весь их быт, военное обучение, их назначение и прочее. Двигаясь самостоятельно, по собственному выбору пути, Суворов обставил свою экспедицию с такой *осторожностью*, что совсем не было пищи для шпионов, которые могли бы предупредить неприятеля. О всем, касающемся движения войск, Суворов отправлял с дороги краткие, но точные сообщения Румянцеву, который был чрезвычайно доволен ими и писал в ответ:

“Вижу в сем походе наисильнейшее действие ваших несравненных военных качеств”. Императрица также была довольна назначением Суворова и выражала надежду, что “*война скоро будет окончена*”.

Нужно заметить, что когда обнаружилась польская революция, было направлено против поляков несколько отрядов с разных сторон. Главное же начальство над ними, а равно – и главные наступательные действия с северо-востока поручены были, – как мы знаем уже, – Репнину. Но он

бездействовал. Екатерина еще раз подтвердила ему “Приводить предписанный план в исполнение с большим успехом и энергией”, и опять-таки – полное бездействие. Таким образом, почин в наступательных действиях всецело принадлежал Суворову, который *самостоятельно* предпринял это.

Двигаясь с большой осторожностью, Суворов открыл корпус Сераковского (около 15 тысяч человек) и постепенно уничтожил его. Это уничтожение целого корпуса, образцового во всех отношениях, произвело потрясающее впечатление. Сами поляки признавали, что Сераковский был *совершенно* разбит. На другой день после сражения в Гродно примчался Костюшко, наскоро осмотрел войска, и был так расстроен, что не мог даже этого скрыть, и никто не решался говорить с ним о деле. В Петербурге были очень довольны победой Суворова. Екатерина пожаловала ему дорогой алмазный бант к шляпе и три пушки из числа отбитых им. Румянцев неоднократно благодарил Суворова в самых любезных выражениях и относил причину успеха “к высшим дарованиям предводителя”.

Войска расположились лагерем в том самом месте, где стояли прежде поляки. У Суворова оставалось войска лишь около 6 тысяч. Эта малочисленность насильно держала его в бездействии именно на половине победного пути и этим причиняла ему невыразимые душевные муки. Для дальнейших операций Суворову крайне необходимо было безотлагательное содействие ближайших по расположению к нему военачальников. Он беспрестанно сносился с ними и с Румянцевым; но в результате, по справедливому замечанию Суворова, “время уходило на доклады”, и дело не подвигалось ни на шаг.

Между тем в это именно время над головой Суворова собиралась грозная туча. Костюшко стягивал со всех сторон корпуса и отряды, чтобы разгромить Суворова *навверняка*, разом напав на него со всех сторон. В это время он узнал о предположении присоединить Ферзена к Суворову. Чтобы помешать этому, Костюшко, собрав находившиеся под руками войска, в количестве 9-10 тысяч человек, стремительно бросился навстречу Ферзену, имевшему отряд в 12 тысяч человек. При Моциевичах произошел весьма горячий бой. Ферзен же со своей стороны имел также определенную цель – непременно помешать соединению Костюшко с сильным отрядом Понинского. Поляки были окончательно разбиты, понесли огромную потерю, тем более тяжелую для них, что Костюшко был тяжело ранен и взят в плен. Под влиянием победы Ферзена, Суворов, несколько уже усиленный мелкими частями, не выжидая окончательного решения вопроса

о присоединении к нему еще двух отрядов войск, окончательно решил предпринять поход к Праге и Варшаве собственными силами. Решение это было вполне принято военным советом 6 октября, в котором, помимо генералов, участвовали также полковые и батальонные командиры, всего 21 человек. Последовало, наконец, и решение о присоединении к Суворову отрядов Ферзена и Дерфельдена, но это произошло уже после выступления из Бреста.

До Варшавы было уже недалеко, и Суворов часто беседовал с солдатами о предстоящем трудном деле, рассказывая им, что поляки сильно укрепляют Прагу, что эта последняя даром в руки не дастся. Но солдаты возражали ему, говоря, что “будет приказ взять, – и будет взята”; что “кто сердит, да не силен, тот козлу брат”; что “другого Измаила не выстроят, а и тому не поздоровилось”.

На пути в Варшаву, в 20 верстах от нее (при селении Кобылка), Суворов в пятичасовом бою уничтожил отряд в 4 300 человек, из которых 1 073 взяты в плен, остальные же – полегли. Вся артиллерия и обоз были захвачены.

С присоединением отрядов Ферзена и Дерфельдена общее количество всех трех осаждающих корпусов составляло до 25 тысяч человек. Гарнизон же Праги превышал 30 тысяч человек, не считая вооруженных варшавян. Обширные ее укрепления очень сложной системы (со рвами, валами, волчьими ямами и прочим), были вооружены крупнокалиберной артиллерией. Тем не менее, созданный Суворовым военный совет постановил: *взять Прагу приступом, несмотря ни на какие укрепления*. Штурм был назначен в ночь с 23 на 24 октября. Безотлагательно были начаты приготовления к штурму (изготовление лестниц, фашин и плетней для прикрывания волчьих ям), законченные 22 октября. Этого числа, вечером, войска двинулись к Праге с музыкой, развернутыми знаменами, где и разместились по-лагерному.

В Варшаве же в это время происходила невообразимая сумятица. Вместо Костюшки нужно было выбрать главнокомандующего. “Верховный народный совет” избрал Томаса Вавержецкого, командовавшего на курляндской границе, на которого, по слухам, указывал и сам Костюшко на случай своей болезни или смерти. Вавержецкий усиленным образом отказывался, но, уступая настойчивым просьбам членов верховного совета, дал, наконец, свое согласие “с *отвращением*”. Он здраво смотрел на вещи и вполне разумно предлагал послать кого-нибудь к Суворову с просьбой о приостановке военных действий, а в Петербург – с мирными предложениями, точнее – с *повинной*. Но ему заносчиво отвечали на это,

что Варшава предпочитает выставить со своей стороны “на защиту Праги 20 тысяч человек, *вооруженных оружием и отчаянием*”. Эта красивая фраза осталась пустым звуком. Когда, ввиду надвигавшегося обложения Праги, главнокомандующий в ней потребовал из Варшавы 10 тысяч вооруженных, явилось только 2 тысячи человек. Варшаву, а вместе с ней и всю Польшу бесповоротно губило *многовластие* (король, главнокомандующий, верховный совет, магистрат и прочие), приводившее, в конце концов, к *безначалию*.

Варшава, отвергнув просьбу о приостановке военных действий, обрекла Прагу на гибель. К пражскому штурму превосходно были подготовлены и военачальники – посредством целого ряда больших рекогносцировок и образцовой дислокации, и войска – особым приказом, выученным каждым почти наизусть и представлявшим верх военного искусства и предусмотрительности благодаря опыту измаиловского штурма. Неудивительно поэтому, что штурм, начавшийся в 5 часов утра, был окончен к 9 часам 24 числа. Каждый отчетливо знал свое место, что ему нужно делать, куда и почему идти.

Вследствие сильного возбуждения войска можно было опасаться за участь Варшавы, вовсе не входившей в планы штурма. Ввиду этого Суворов приказал зажечь мост, соединявший Прагу с Варшавой. Пожар перебрался на Прагу, и море огня еще более увеличило общий ужас. Грохотавшая же канонада между Варшавой и Прагой придавала этой адской картине еще более ужасающий вид. По официальному донесению, убитых поляков 13 340 человек, пленных 12 860, потонуло около 3 тысяч человек. Было пролито много крови, но это устранило затягивание войны, или иначе – обращение ее в хроническое кровопролитие. Не прошло и суток после пражского погрома, как в русский лагерь явилось посольство от капитулирующей Варшавы. 25 октября, в полночь, прибыли к Суворову три депутата варшавского магистрата с депешей от магистрата и с письмом от короля Станислава-Августа Понятовского. Их несказанно обрадовала и даже смутила необычайная скромность условий, предложенных победителем и состоявших в следующем:

“Оружие, артиллерию и снаряды сложить за городом в условленном месте. Поспешно исправить мост, чтобы русские войска могли вступить в Варшаву 25 вечером или 26 утром. Дается торжественное обещание именем Русской Императрицы, что все будет предано забвению и что польские войска, по сложении ими оружия, будут распущены по домам, с

обеспечением личной свободы и имущества каждого. То же самое гарантируется и мирным обывателям. Его Величеству королю – всеподобающая честь”.

Депутаты даже прослезились от такой умеренности условий, а тем более – от великодушия и доброжелательства, с которыми Суворов принял депутатов, угостил их, беседовал с ними, уверив их, что искреннее и единственное желание и стремление России – *мир и мир!*

Верховный совет под давлением дружного общественного влияния вовсе отстранился от дел, передав свои полномочия королю. Отсроченное Суворовым, по просьбе короля, вступление войск торжественно произошло 29 октября с развернутыми знаменами, с музыкой, начавшись в 8 часу утра. Суворов ехал в середине войск с большой свитой. Городской магистрат находился на варшавском конце моста. Старший член магистрата поднес Суворову на бархатной подушке городские ключи, а также хлеб и соль, и сказал краткую приветственную речь. Суворов взял ключи, поцеловал их и громко поблагодарил Бога за то, что Варшава куплена не такой ценой, как Прага. Передав поднесения дежурному генералу Исленьеву, он стал побратски обниматься с членами магистрата и со многими из окружающего народа.

Пройдя город, войска направились к лагерным местам, внутри ограды варшавских укреплений. Суворов поместился в одном из лучших домов, в близком соседстве с лагерем. Магистрат представил ему подлежащих освобождению военнопленных прусских, австрийских и русских. Первых было больше 500, вторых 80, третьих 1 376 человек. Австрийцы и пруссаки были скованы. В числе русских находились три генерала и три дипломатических чиновника высшего ранга. Произошла очень трогательная сцена. Освобожденные падали перед Суворовым на колени и горячо благодарили. Радость и благодарность их были тем понятнее, что несколько дней назад носились весьма зловещие слухи об их участи.

30 октября Суворов был у Станислава-Августа в полной парадной форме, со всеми своими орденскими знаками, в сопровождении громадной свиты и конвоя. На этой аудиенции между прочим решено было, что король отдаст приказание, чтобы все польские войска положили немедленно оружие и выдали пушки. В этих видах Суворовым была доставлена королю амнистия для объявления всем войскам. В отношении политики “умиротворения” Суворов держался правила, что чем шире победитель выказывает свое великодушие и безбоязненность, тем полнее получается результат умиротворения. Образ действий Суворова в отношении поляков

был безусловно чистосердечен и честен, справедлив и доброжелателен. Именно вследствие этого и оказался возможным такой факт, что после серьезно задуманного и подготовленного восстания с сильной степенью фанатического возбуждения к 8 ноября уже было *вполне закончено* Суворовым *мирное* разоружение Польши, *совершенно добровольное*.

Посланный Суворовым генерал-майор Исленьев с ключами и хлебом-солью Варшавы приехал в Петербург 19 ноября. По этому поводу на другой день был отслужен благодарственный молебен с коленопреклонением. Дочь Суворова удостоилась самого внимательного приема со стороны императрицы. На происходившем же в тот день парадном обеде было объявлено о возведении Суворова в звание фельдмаршала.

Суворов в одном из своих частных писем говорит по этому поводу, что он “был болен от радости”. Он получил от государыни два рескрипта, из которых в одном говорится, что Суворов сам произвел себя своими победами в фельдмаршалы, нарушив старшинство, вообще строго соблюдаемое. Племянник его, князь Алексей Горчаков, был прислан к нему с фельдмаршалским жезлом в 15 тысяч рублей вместе с бриллиантовым бантом к шляпе. Наконец Суворову было назначено в полное его и потомственное владение одно из столовых имений польского короля – Кабирский ключ, с семью тысячами душ мужского пола, что *утроило* его состояние.

Радуюсь до болезни, Суворов не скрывал своего восторга, впадая даже в чудачество. Привезенный ему фельдмаршальский жезл он приказал отнести в церковь для освящения. Затем сам пришел туда в куртке, без знаков отличия, и приказал расставить в линию несколько табуреток с промежутками, после чего начал перепрыгивать табуретки, называя после каждой имя одного из тех генерал-аншефов, которых он обошел (Репнина, Прозоровского, Салтыкова и прочих). Наконец, табуретки были убраны; он оделся в полную фельдмаршальскую форму, вновь явился в церковь и прослушал богослужение.

Среди разнообразного выражения сочувствий Суворову особенно характерным представляется в этом отношении поведение варшавского магистрата. В 1794 году, в день Екатерины, от имени варшавян Суворову была поднесена золотая эмалированная табакерка с лаврами из бриллиантов. На середине крышки был изображен городской герб – плавающая сирена и под нею подпись: *Warszawa zbawcy swemu* (Варшава своему избавителю); внизу же герба – другая подпись, обозначающая день пражского штурма: 4 ноября (24 октября) 1794 года.

Таким образом, варшавяне называли Суворова своим “избавителем” за

разрушение моста во время штурма; обстоятельства же не замедлили доказать, что не одни варшавяне, а все поляки с полным правом могут и должны назвать Суворова своим “избавителем”. Дело в том, что, когда затихли петербургские торжества победы, масса лиц, недовольных возвышением Суворова, начала судить и рядить по-своему, отвергая пользу миролюбивой политики в отношении поляков, доказывая необходимость крутых мер. Суворов моментально и победоносно *отпарировал* все подобного рода притязания, доказав полную их несправедливость и большой вред. Поэтому принятая им система умиротворения края *осталась нетронутой*, так как именно благодаря ей Польша находилась в *полнейшем повиновении и никаких опасений не возбуждала*. Именно “не мщением, а великодушием была покорена Польша”, – скажем мы словами Суворова, и год мирного его управления в Польше можно назвать образцом *административной мудрости*. Через год, когда состоялся, наконец, окончательный раздел Польши, и Суворову нечего уже было делать там, он получил 17 октября 1795 года рескрипт, в котором императрица благодарила его за все им сделанное.

В этот именно период дочь его, Наташа, вышла замуж за графа Николая Зубова, брата нового фаворита. Замечательно, что это родство с всесильным фаворитом не только не вызвало сближения, но, породнившись с Платоном Зубовым, Суворов еще более отдалился от него. Впоследствии охладели его отношения к зятю и дочери, которой он уделял очень много внимания во все время до ее замужества и положительно прославил ее своими письмами к ней.

Выдача дочери замуж не избавила Суворова от семейных забот. На смену дочери явился сын, Аркадий. До 11 лет он был при матери. В сентябре 1795 года Суворов впервые упоминает о сыне в письме к Платону Зубову, которого он благодарит за монаршее благоволение, оказанное его сыну, заключавшееся, вероятно, в назначении его камер-юнкером к великому князю Константину Павловичу, для чего он впервые и прибыл в Петербург из Москвы в начале 1796 года. Попечение о воспитании и образовании Аркадия было поручено Суворовым его замужней дочери. Граф же Николай Зубов принял на себя надзор за педагогической стороной дела.

Глава IX. Резкие превращения. 1796 – 1799

Деятельность Суворова в Финляндии и Тульчине. – Восшествие на престол Павла Петровича; его особенности. – Увольнение Суворова от службы. – Пребывание его в селе Кончанском

По прибытии в Петербург 4 января 1796 года Суворов стал предметом особенного внимания не только со стороны общества, гордившегося им и прославлявшего его, но также со стороны императрицы. Она выслала ему в Стрельну парадную придворную карету с эскортом из чинов конюшенного ведомства. Для житья назначила ему и его свите Таврический дворец, приказав при этом завесить зеркала в угоду причудливому фельдмаршалу, не любившему их. При личном свидании государыня окончательно обворожила его своим радушным приемом и утонченным вниманием. Узнав, например, что Суворов ехал из Стрельны в одном фельдмаршальском мундире без всякой верхней одежды (он сделал это ради особенной торжественности своего въезда – и заморозил своих спутников), Екатерина подарила ему роскошную соболью шубу, крытую зеленым бархатом. Но Суворов пользовался ею только во время поездок во дворец, да и то держал ее на коленях и надевал лишь по выходе из кареты.

Тем не менее, он редко бывал во дворце у государыни, особенно же на парадных обедах, которых умышленно избегал. Вообще же Суворов нехорошо чувствовал себя в придворной среде. Его резкая прямота и грубая откровенность стесняли всех, а тем более – императрицу. Поэтому он с радостью принял предложение императрицы съездить в Финляндию и осмотреть те пограничные укрепления, которые им же были проектированы и сооружаемы в 1791 и 92 годах, но закончены другими. Он быстро окончил это поручение и был очень доволен виденным им, так как “не осталось уголка, куда бы могли проникнуть шведы, не встретив сильных затруднений и отпора”.

Еще при первом свидании с Екатериной по возвращении в Петербург из Варшавы, Суворову было предложено главное начальствование над затевавшейся тогда персидской экспедицией. Но он просил дать ему подумать. Теперь же, возвратившись из Финляндии, он категорически отказался от экспедиции, о чем, однако, очень сожалел потом, когда началась экспедиция и крайне неумело велась Зубовыми. Эта экспедиция, начатая по личным расчетам фаворита Платона Зубова, послужила поводом для самых злостных нападок со стороны Суворова. А так как зять

Суворова, Николай Зубов, старался отстаивать брата, то это послужило одним из главных поводов для сильного охлаждения Суворова не только к зятю, но и к жене его, к своей Наташе, к которой он был прежде так внимателен и нежен.

Он получил в командование самую большую из трех существовавших тогда армий, заключавшую в себе войска, находившиеся в губерниях: ярославской, пермской, екатеринославской, харьковской и таврической области, всего – 13 кавалерийских и 19 пехотных полков, черноморский гренадерский корпус, три егерских корпуса, 40 осадных и 107 полевых орудий, 48 понтонов; да кроме того еще три полка чугуевских и екатеринославское пешее и конное войско. Штаб-квартиру свою он устроил в Тульчине.

С любовью и увлечением отдался Суворов порученной ему армии, в которую он отправился в половине марта 1796 года. Менее чем в годичный срок он довел военное обучение вверенных ему войск до высокой степени совершенства, образцово поставив их, вместе с тем, в отношении продовольствия, одежды, гигиенических условий жизни, занятий полезными работами и духовно-нравственной пищи.

В Тульчине, как и вообще, Суворов вел необыкновенно деятельную жизнь. Вставал очень рано и в течение дня несколько раз оканивался холодной водой во всякое время года. Обедал около 8 часов утра, когда и принимал посетителей, охотно проводя с ними в беседе за столом около полутора-двух часов и более. Затем все остальное время (кроме кратковременного сна среди дня) от момента вставания до ночного отдыха он непрерывно занимался или служебными делами, или просмотром той массы периодических изданий общего и специального характера, русских и иностранных, которые он обязательно получал всегда. Кроме того, немало времени уходило на изучение языков финского, турецкого и татарского. Суворов очень любил общество, всевозможных родов игры и развлечения, вносил большое оживление в местную жизнь и имел всегда и везде громаднейший круг поклонников и поклонниц, высоко ценивших его за необычайную веселость, живость, подвижность, блестящую остроту ума, колкость языка, благородную ядовитость речи. Где бы он ни был – положительно *влюблял* в себя простотою и естественностью обращения, задушевной искренностью и прямою. Но к величайшему несчастью, в мирной и плодотворной деятельности Суворова неожиданно произошел крутой и резкий поворот.

6 ноября скончалась Екатерина, и на престол вступил сын ее, Павел Петрович. Воцарение Павла было названо в свое время “*затмением*”. Одно

из наиболее преданных Павлу лиц, между прочим, говорит о нем: “рассудок его был *потемнен*, сердце наполнено *желчи* и душа *гнева*”. В практической же его деятельности, – как видно из бесконечной цепи фактов кратковременного его царствования (4 года и 4 месяца), – все доброе уничтожалось необыкновенной раздражительностью и подозрительностью, неразумной требовательностью, нервическим нетерпением, отсутствием чувства меры, надменным непризнанием человеческого достоинства. Очевидная болезнь души.

Екатерина, всегда строго державшаяся приличий, не считала этого обязательным для себя в отношении сына: обыкновенно бывала к нему невнимательна, черства и жестка. Постепенно увеличивавшаяся холодность взаимных отношений перешла в отчужденность, а затем – и в явно неприязненное чувство между матерью и сыном. Считаясь наследником престола, Павел Петрович, однако, не имел никаких государственных занятий, ничего официально-делового, нигде не присутствовал. Он уединялся в загородных дворцах Павловска и Гатчины с полным отстранением не только от государственной деятельности, но и от круга просвещенных людей. Немудрено, что, желая как-нибудь занять свой досуг, он ударился в резкую крайность – стал *изобретать* свою собственную *военную систему*, где обучение и служба сводились к механическому выполнению ничтожнейших мелочей при высокой степени требовательности и при условии чисто скотского повиновения. Все это, оставаясь почти в размерах детской забавы, вместе с тем представляло собой крайне неумелое, даже извращенное подражание прусскому военному образцу с усвоением прусского военного устава и прусской же формы одежды.

Павел I, вступая на престол, был весь проникнут до самозабвения *огульным отрицанием* всего, что было сделано в прошлое царствование. К каким глубоко прискорбным последствиям приводило это на деле, можно видеть на примере тех *чудовищных превращений*, которые выпали на долю фельдмаршала графа Суворова, пользовавшегося теперь уже такой громкой и почетной известностью, что буквально вся Европа завидовала России, имеющей этого гениального полководца, и не было страны, которая не желала бы иметь его своим военачальником. Между тем, Павел не задумался не только *забраковать* его, но даже и *загнать в самый темный угол*.

Вследствие нововведений Павла в половине декабря к Суворову были присланы два фельдъегеря для посылок вместо офицеров. Между тем, к новому году от него прибыл в Петербург капитан с частными письмами без

служебной корреспонденции. По докладу Павлу об этом ничтожнейшем пустяке последовал приказ: выразить Суворову неудовольствие, причем указанное употребление офицеров было названо “не приличным ни службе, ни званию их”. Узнав же из расспросов посланного, что Суворов еще не распустил своего штаба, как это требовалось все теми же “нововведениями”, государь повелел добавить в приказе “удивление” этому, а также и подтверждение о непременном и немедленном исполнении его воли. Не успел еще Суворов получить уведомление об этом, как на нем были уже насчитаны *три* новые вины.

Прежде всего он провинился тем, что поднял вопрос о некотором изменении в расположении состоящих у него войск, – что прежде он делал совершенно самостоятельно. Вторая его провинность – ходатайство оставить под своим ведением генерал-майора Исаева, давнего сослуживца Суворова. Наконец, третья его провинность – отпуск в Петербург подполковника Батурина. По поводу всего этого в половине января 1797 года последовал следующий рескрипт на имя Суворова:

“С удивлением вижу я, что вы без дозволения моего отпускаете офицеров в отпуск, и для того надеюсь я, что сие будет в последний раз. Не менее удивляюсь я, почему вы входите в распределение команд, прося вас предоставить это мне. Что же касается до рекомендации вашей, то и сие в мирное время до вас касаться не может; разве в военное время, если непосредственно под начальством вашим находиться будет. Вообще рекомендую поступать во всем по уставу”.

Кроме того, в высочайшем приказе 15 января Суворову объявлен еще *выговор*. Но, не успев даже получить эти повеления, Суворов вновь послал в Петербург офицера с донесением, что не получил еще повеления о неупотреблении офицеров для курьерских должностей. В припадке бешенства Павел отправил злополучного посла в гарнизонный полк, в Ригу, для какого-то будто бы “примера другим”; Суворову же выразил в рескрипте крайнее неудовольствие, где, например, сказано в заключение:

“Удивляемся, что вы – тот, кого мы почитали из первых по исполнению воли нашей, остаетесь последним”. Кроме того Суворову еще был объявлен выговор в Высочайшем приказе.

Еще по получении первого из указанных выше рескриптов Суворов,

оскорбленный и возмущенный, подал 11 января прошение об увольнении его в годичный отпуск, справедливо ссылаясь на свои *“многие раны и увечья”*. На прошение последовал отказ 19 января, что будто бы *“обязанности службы препятствуют от оной отлучиться”*.

3 февраля Суворов подал прошение об отставке. По поводу этой просьбы ему был написан *беспощадно-жестоким и возмутительно-несправедливым указом*, в самой злостной и грубой форме. По поручению государя, Суворову ответили 14 февраля:

“Государь Император, получа донесение вашего сиятельства от 3-го февраля, соизволил указать – доставить к сведению вашему, что желание ваше предупреждено было, и что вы отставлены еще 6 числа сего месяца”.

Само же “отставление” это было произведено следующим образом. На разводе 6 февраля был отдан приказ:

“Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь Его Императорскому Величеству, что так как войны нет, и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы”. (Ни грамматики, ни логики!!!)

Суворов, заслугами добившийся графства и фельдмаршальства, прослуживший чуть не вдвое более узаконенного срока, проведенный на службе почти всю свою жизнь и буквально отдавший ей все свое здоровье и силы, на 67 году жизни *“отставлен от службы даже без права ношения мундира!..”* А затем еще – и быстро был низведен буквально до самого *прозябательного* состояния...

Сдавши дела в Тульчине своему преемнику, Суворов в исходе марта 1797 года отправился в Кобрин, чтобы заняться там делами имения и привести его в порядок. Но даже и это небольшое в личном его хозяйственном деле не дали ему осуществить. Ночью, 22 апреля, когда Суворов не успел даже и осмотреться по имению, к нему приехал в Кобрин коллежский советник Николаев и предъявил следующее высочайшее повеление:

“Ехать вам в Кобрин или другое место пребывания Суворова, откуда его привести в боровицкие его деревни, где и препоручить Вындомскому (боровичскому городничему), а в случае

надобности – требовать помощи от всякого начальства”.

Отъезд так торопили, что не было никакой возможности сделать распоряжения, отдать приказания, забрать бриллианты более чем на 300 тысяч рублей и другие ценные вещи. Не успели даже подвести счетов, чтобы снабдить Суворова деньгами на дорогу, так что ему пришлось довольствоваться тысячей рублей, одолженных управляющим именем.

Суворова водворили в родовом его селе Кончанском, настолько запущенном, что полуразвалившийся дом был трудно обитаем даже в теплое время года, так как он плохо защищал от стихийных невзгод и совершенно был необитаем во время осенних холодов и в зимнюю пору. Не говоря уже о том, что сравнительно благоустроенный Кобрин с прекрасным домом не мог даже идти в сравнение с захолустнейшим Кончанском, нужно еще заметить, что это вынужденное переселение представляло собою глубоко существенное ухудшение в положении Суворова во всех отношениях. В Кобрине Суворов был только *опальным*, в Кончанске же он – *ссылный*, да притом еще и *поднадзорный*...

В июле его посетили: дочь, то есть графиня Зубова, с маленьким своим сыном, всего нескольких месяцев, и сын Аркадий. Это посещение близких людей несколько скрасило его ссылку; но, к сожалению, оно не могло быть продолжительным, так как семья Суворова, теснившаяся кое-как в летнюю пору, не могла уже оставаться в Кончанске с наступлением холодного времени. Она уехала 21 сентября, и ссылное положение Суворова стало еще тяжелее, так как одновременно с этим *усилена поднадзорность*. Специальным дозорным был назначен все тот же Николаев, человек полуграмотный, неразвитой. Для него этот дозор был единственным средством к существованию, и потому он из сил выбивался, усердствуя в надзоре; старался совать свой неопрятный нос решительно во весь склад и строй жизни Суворова; умышленно преувеличивал состояние здоровья Суворова, которое, в действительности, было очень плохо, требовало заботливого внимания и ухода. Но этого, безусловно, невозможно было добиться в Кончанске, где Суворову пришлось поселиться на зиму в простой крестьянской избе вследствие окончательной непригодности для жилья собственного дома. В простом ежедневном его костюме произошло упрощение до *последней крайности*: он ходил даже *без рубашки*, в одном нижнем белье, как обыкновенно делывал это в лагерное время.

Николаев прибыл в Кончанск накануне отъезда семьи Суворова, и, по-видимому, неожиданное появление сыщика ускорило отъезд. С этой поры жизнь Суворова была опутана сплошной сетью дозора в самой *дерзкой и*

насильственной форме. К Суворову никого не допускали, отказывали всем, являвшимся к нему, не сообщая даже о них Суворову. Самому ему запрещено было ездить к соседям. Письма обязательно перехватывались. Все хозяйственные распоряжения его задерживались для испрашивания разрешений из Петербурга. К этому нужно прибавить еще неожиданно обрушившуюся на Суворова массу казенных взысканий и частных претензий, которые в короткий промежуток времени превысили 100 тысяч рублей. Все они касались службы его как военачальника, предводителя войск; значит и удовлетворять их должен не Суворов, а казна. В действительности же было как раз наоборот. По заявлениям не производилось никаких предварительных расследований; о них не сообщалось даже Суворову как ответчику: они просто обращались ко взысканию, *безапелляционно*, да притом еще с суровым подтверждением “не затягивать исполнения”...

Таким взысканиям не предвиделось конца, так как их не начинали разве только ленивые. Дело явно и открыто было направлено к незаконному, насильственному *разорению* Суворова, прямо-таки к *ограблению* его. И он, беззащитный и беспомощный, безропотно подчинился жестокой судьбе, приняв такое решение:

“В несчастном случае – бриллианты; я их заслужил, Бог дал, Бог и возьмет и опять дать может”.

Наконец, вторглись даже и в личную семейную жизнь Суворова, притом в самой беззастенчивой и оскорбительной форме. Прошло 13 лет уже, как он разошелся с женой. Все время он ежегодно выплачивал ей приличную пенсию (до 3 тысяч рублей); она же, не задумываясь, жила выше средств, входя в долги. Теперь, воспользовавшись бесправным и приниженным состоянием мужа, она обратилась с просьбой обязать его: уплатить ее долг в 22 тысячи рублей; выдавать ей на прожитие ежегодно по 8 тысяч рублей и предоставить в ее пользование дом в Москве. Просьба эта была *моментально удовлетворена*, без всякого рассмотрения, – и Суворова высочайшим повелением *обязали выполнить* ее.

Ко всему этому еще нужно прибавить *полное разграбление* в Кобрине вследствие окончательной невозможности личного руководства и контроля. При таких условиях существования прошло около года. Наконец, 14 февраля 1798 года перед Суворовым неожиданно предстал племянник его, 19-летний юноша, подполковник Андрей Горчаков, флигель-адъютант Павла I, с предложением немедленно ехать в Петербург на основании

следующего высочайшего повеления от 12 февраля:

“Ехать вам, князь, к графу Суворову; сказать ему от меня, что если было что от него мне, я сего не помню; что может он ехать сюда, где, надеюсь, не будет повода подавать своим поведением к наималейшему недоразумению”. Одновременно с этим и генерал-прокурору было предписано: “Дозволив графу Суворову приехать в Петербург, находим пребывание Николаева там ненужным”.

Этот последний моментально уехал под Москву в свое имение. Суворов же равнодушно отнесся к сообщению племянника, и отказался от поездки в Петербург. Только после настойчивых убеждений племянника в неизбежности еще более сильной опалы Суворов согласился ехать.

Павел нетерпеливо ждал Суворова. Узнав поздно ночью о его приезде, выразил сожаление, что не может тотчас же принять его, и назначил ему прием на завтра, в 9 часов утра. Прием был радушный, причем беседа с глазу на глаз, в кабинете, продолжалась более часа, после чего Суворов отправился на парад. Государь, видимо, желал заинтересовать Суворова производившимся учением, но получился совершенно обратный результат. Он открыто подшучивал и подсмеивался над учением, признавая его совершенно несостоятельным, и обнаруживал явное невнимание к нему. “Нет, не могу, уеду”, – говорил он поминутно подходя к юному князю Горчакову. И, как ни урезонивал его Горчаков, он остался непреклонным. “Не могу, брюхо болит”, – сказал он племяннику – и уехал.

Государь видел выходки Суворова, но смолчал, хотя, видимо, был даже взволнован ими. Вообще, надо заметить, что государь, перед которым все трепетало и безмолвствовало, видимо пересиливал себя в отношении Суворова, оказывал необыкновенную снисходительность к его выходкам. Суворов же не упускал случая вышутить и осмеять новые уродливые правила службы, обмундирования, снаряжения, не стеснясь даже и присутствием государя. Только раз, когда Суворов позволил себе даже бегать и суетиться во время развода между проходившими церемониальным маршем взводами, выражая на лице своем то недоумение, то изумление, шепча себе под нос: “Да будет воля Твоя” и крестясь, – то, ввиду этого несомненного беспорядка, через несколько дней после развода последовал приказ о *благочинии на разводах*, явно имевший в виду именно выходки Суворова, хотя имя его при этом не было упомянуто.

В конце концов, Суворов, выбрав удобную минуту, прямо испросил у Павла позволение возвратиться к себе в деревню – и в тот же день уехал.

На первых порах по возвращении в Кончанское он чувствовал себя недурно. Отсутствие Николаева как бы сняло у него целую гору с плеч. Он с увлечением занялся приведением в порядок своих хозяйственных дел на месте и в Кобрине. Это на несколько месяцев заняло его, да и то не вполне: дело было чуждо ему по своей сущности, и оно не могло захватить и заполнить его всего.

Хотя он и перестал быть “поднадзорным”, но все же не имел полной личной свободы и не мог вполне безбоязненно пользоваться ею. Над ним все-таки тяготели опала и ссылка, и симптомы их до поры до времени довольно ощутительно заставляли чувствовать себя.

Несмотря на свои 68 лет он чувствовал страстное влечение служить военному делу свободно, широко... Но принять то, что так настойчиво предлагали ему, – невозможно, а другого выхода нет, особенно же при ссыльном, опальном положении, относительно изменения которого не имелось даже никаких признаков. И Суворов решил поступить “в иноки”. В декабре 1798 года он подал государю следующее прошение:

“Ваше Императорское Величество, всеподданнейше прошу позволить мне отбыть в Нилову новгородскую пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни в службе Богу. Спаситель наш один безгрешен. Неумышленности моей прости, милосердый Государь. Всеподданнейший богомолец, Божий раб”.

Время шло, – и никакого ответа. Наконец, 6 февраля 1799 года в Кончанское приехал флигель-адъютант Толбухин и привез Суворову следующий собственноручный высочайший рескрипт от 4 февраля:

“Сейчас получил, граф Александр Васильевич, известие о настоящем желании Венского двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпусы Розенберга и Германа идут. Итак, по сему и при теперешних европейских обстоятельствах, долгом почитаю не от своего только лица, но от лица и других, предложить вам взять дело и команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену”.

Суворов, конечно, был несказанно поражен таким неожиданным и благоприятным оборотом дела. Толбухин, понятно, был немедленно отправлен с ответом о безотлагательном выезде в Петербург, что и последовало 7 февраля.

Глава X. В чужих краях. 1799

Назначение Суворова главнокомандующим союзной армии. – Итальянский театр войны. – Победы над французами. – Суворов – князь Итальянский. – Предоставление ему царских воинских почестей

Тощим, ослабевшим физически, болезненным явился Суворов в Петербург после вынужденного двухлетнего пребывания в Кончанском. Но дух его был ясен и бодр, как никогда. Он был убежденным противником насильственного навязывания Францией республиканского режима другим народам, считая республиканское насилие “хуже даже и гибельнее всякого другого”.

Выбор пал на Суворова, как на “знаменитого мужеством и подвигами”, главным образом по настояниям Англии. Благодаря избранию извне, Суворов был зачислен на службу в России с чином фельдмаршала, но – без объявления в приказе. Это умолчание в приказе только усугубило восторженнейший прием, оказанный Суворову петербургской публикой, справедливо называвшей его “гордостью” России, “восходящим солнцем славы”.

Император Павел, по-видимому, также испытывал влияние этого общественного движения. Вместо каких бы то ни было инструкций государь просто сказал Суворову: “Веди войну по-своему, как умеешь”.

Суворов прибыл в Вену 14 марта. Это вызвало там общую “радость, доверие и надежду” во всех слоях населения, не исключая придворной сферы и императора. Великодушный отпуск Россией 70 тысяч войска, так громко прославленного победами в Праге, Измаиле, Рымнике и прочих, притом – под предводительством самого же виновника побед, Суворова, был большим счастьем для Австрии, буквально – спасением ее от посягательства Франции.

В получасовой аудиенции ему было лично объявлено австрийским императором, что он назначается главнокомандующим союзной армией, с предоставлением ему свободы действий на театре войны. То же потом было повторено и главой венского кабинета, бароном Тугутом как Суворову, так и нашему послу, Разумовскому. Ввиду же подчинения ему, иностранному полководцу, австрийских войск, он был возведен в чин австрийского фельдмаршала. Но через четыре дня к Суворову явились четыре члена гофкригсрата (придворного военного совета) с проектом войны на Итальянском полуострове. Сама личность Суворова исключала

возможность руководства со стороны. Суворов строго держался правила, что *“в кабинетах врут, а в поле бьют”*. Он решительно отверг совместное предварительное обсуждение проекта военных действий. Но так как члены гофкригсрата просили, по крайней мере, его мнения по поводу их проекта, то он, зачеркнув его весь, надписал в конце, что признает необходимым *начать* именно с того, чем в проекте предполагается кончить. На прощальной же аудиенции перед отправлением Суворова на итальянский театр войны император Франц, по-прежнему приняв его весьма любезно и подтвердив ему полное свое доверие, тем не менее, вручил ему инструкцию главнейших оснований первоначального хода войны. В сущности, это было то же, что Суворов уже зачеркнул. А потому, избегая полного разрыва, он удержал у себя этот документ лишь для того, чтобы сообразоваться с ним по мере возможности.

Путь от Вены до Вероны отличался торжественными, сочувственными встречами. Въезд же в Верону вечером 3 апреля был положительно *триумфальный*. Это свидетельствовало о высоком доверии к нему населения. И он немедленно же оправдал его.

Французы, отступая перед союзной армией, удерживали в своих руках тыльные крепости. Первой из них был значительный город Брешиа с цитаделью. Когда союзные войска подступили к городу, население его, сильно раздраженное поборами и насилиями французов, само открыло союзникам городские ворота и спустило мосты, устремившись затем грабить дома французских сторонников и рубить посаженные французами *“деревья вольности”*. Французский генерал Бузэ заперся в цитадели и производил горячую канонаду. Но, видя серьезные и деятельные приготовления к штурму, безусловно сдался. Вслед за Брешией и по ее примеру один за другим переходили в руки союзников итальянские города. Французы же, заседавшие в цитаделях, в конце концов, тоже всегда сдавались, с разного рода упорством и разной степенью потерь с их стороны, глядя по обстоятельствам.

Но, помимо городов и заседавших в них французских войск, были еще целые армии французов. За одной из них и направились союзники после Брешии. Во главе этой армии был поставлен генерал Моро, считавшийся, по военному дарованию, первым после Бонапарта. Суворов обрадовался этой перемене, говоря, что придется иметь дело не с *“шарлатаном”*, а с *“истинным военным человеком”*. Произошел страшный бой при реке Адде. Это было первое сражение двух многочисленных армий (около 30 тысяч человек в каждой), из которых обе предводительствовались гениальными полководцами. Это было не просто сражение, а именно *смертельный бой*

двух “*направлений*”, из которых каждое имело право на существование. 12 часов продолжался этот отчаянный бой 16 апреля, и союзная армия перешла через Адду. “Тако и другие реки в свете все переходимы”, – писал по этому поводу Суворов. Известие об этой блестящей победе было встречено с восторгом в обеих столицах, причем император Франц благодарил Суворова рескриптом, а император Павел – двумя рескриптами.

Французы с необыкновенной поспешностью отступали через Милан; а перед ними гигантской лавиной неслись вести о погроме, разливаясь во все стороны и вызывая в населении изумление и благодарность Суворову, перед которым преклонялись теперь буквально все итальянцы, не исключая даже и недавних приверженцев французов, потому что он победил “*непобедимых*”. Едва французы успели убежать из Милана, как к нему подступило несколько сот казаков, которые, выломав ворота, ворвались в город и очистили его от французов, не успевших убежать или спрятаться в цитадели. Наутро же в Милан вступили союзные войска с Суворовым во главе. Он был встречен за городом духовенством с хоругвями при громадном стечении народа. При входе в собор его встретил архиепископ в полном облачении, с крестом в руке и призвал на него благословение Божие. Суворов ответил по-итальянски, прося молитв. При выходе же из собора Суворов сделался предметом самой оживленной овации. Ему бросали под ноги венки и ветви, становились перед ним на колени, ловили его руки или полы платья. Суворов был растроган, даже прослезился. Но и в эту торжественную минуту он все-таки не забывал, что “*теперь ведь пора рабочая*”.

У него окончательно уже созрел план всей последующей кампании, включительно до вступления в Париж союзных войск. План свой он отправил в Вену 20 апреля и вслед за тем, того же числа, двинул свои войска к реке По на свой личный страх и риск. 26 апреля в армию Суворова прибыл великий князь Константин Павлович, посланный государем “начать свое боевое поприще в школе Суворова”. Не останавливаясь на описании двух битв (при Басиньяне и Маренго, 1 и 5 мая), нельзя не отметить изумительно быстрого перехода в руки союзников самых крупных и наиболее укрепленных городов. Как было уже сказано выше, города переходили к союзникам, главным образом, при участии их жителей, которые обыкновенно чрезвычайно радушно встречали Суворова. При вступлении, например, его в Турин, 15 мая, ему был оказан населением даже более шумный прием, чем в Милане.

Итак, в полтора месяца вся северная Италия была очищена от неприятеля, в руках которого остались там только крепости Мантуа и Кони.

По поводу этого успеха государь писал Суворову в начале июня:

“В первый раз уведомили вы нас об одной победе, в другой о трех, а теперь прислали реестр взятым городам и крепостям. Победа предшествует вам всеместно, и слава сооружает из самой Италии памятник вечный подвигам вашим. Освободите ее от ига неистовых разорителей, а у меня за сие воздаяние для вас готово. Простите, Бог с вами”.

Тем не менее, положение Суворова было в высшей степени затруднительно и опасно. Естественный ход военных операций поставил его между двумя многочисленными неприятельскими армиями: с севера – Моро, с юга – Макдональда. Каждая из этих армий в отдельности была многочисленнее суворовской. Значит грозила большая опасность быть раздавленным и уничтоженным, и он избежал этого бедствия только благодаря своему военному гению. Макдональд совершенно неожиданно спустился с Апеннин 31 мая именно затем, чтобы вместе с Моро покончить с Суворовым. Имея верные сведения, что Суворов находится довольно далеко, Макдональд 6 июня набросился у С.-Джиовани на довольно значительный отряд союзников, уверенный в полном его уничтожении. Но он не знал, как быстр и стремителен Суворов в случае опасности. И в тот именно момент, когда над головами геройски отбивавшегося отряда союзников собирался *последний удар*, по-видимому, окончательно уже неотстранимый, на место боя вихрем прилетел Суворов с 4 полками казаков. Окинув поле сражения орлиным взором, он мигом дал делу благоприятный оборот, правильно рассчитывая на новые и новые поддержки подходившими войсками, но не выжидая их, всегда руководствуясь в подобных случаях тем, что *“голова не ждет хвоста”*. Тем не менее, неравномерность сил была поразительна. Суворов же в это время отдал приказ “атаковать всем одновременно, не теряя времени”. Самый храбрейший и наиболее любимый генерал, князь Багратион, подошел к Суворову и вполголоса просил позволения отсрочить атаку, пока еще подойдут войска, так как в ротах не насчитывается пока и по 40 человек. “А у Макдональда нет и по 20”, – на ухо ответил ему Суворов, желая этим сказать, что он не придает решающего значения численному перевесу неприятеля, – “Атакуй с Богом!” – твердо и решительно заключил он. Вся линия ударила необычайно мужественно и дружно, с музыкою и барабанным боем, а русские – еще и с песнями. Сам же Суворов беспрерывно носился перед фронтом, повторяя: “Вперед! Вперед! Коли!”...

Со всеми успевшими подойти подкреплениями силы союзников в конце боя не превышали 15 тысяч человек, то есть были менее сил неприятеля по крайней мере тысячи на четыре. Тем не менее, к исходу 9 часа вечера французы, с большими потерями, вынуждены были отступить. Пораженный неожиданным появлением Суворова и совсем непредвиденным исходом боя, Макдональд, однако, не считал еще дела проигранным. Отступив к реке Требии, он отсрочил нападение на союзников до 8 мая, выжидая поддержки со стороны Моро. Но это совсем не отвечало намерениям Суворова, решившегося непременно продолжать наступление следующим же утром, к чему он деятельно готовился всю ночь. К утру 7 июня у него было под ружьем 22 тысячи человек. У французов же в этот день, с прибывшими к ним подкреплениями, было около 35 тысяч человек. Бой, начавшийся с 10 часов утра, непрерывно продолжался, пока совсем не стемнело, окончился отступлением французской армии на другой берег Требии. Войска Суворова остались на тех же позициях, которые занимали, так как он решил наступать в прежнем направлении. На этот раз и Макдональд тоже держался наступления, так как он сознавал превосходство своих сил, получив накануне подкрепление. Он был так самоуверен, что назначил даже в диспозиции общее наступление, с обходом обоих флангов союзной армии. У Суворова же, еще в первом его приказе, до встречи с Макдональдом, первыми словами стояли: *“неприятельскую армию взять в полон”*. Но положение Суворова было в высшей степени затруднительно: во все время трехдневного боя он не мог всецело и безусловно предаться одному этому делу, так как непрерывно должен был быть начеку и в отношении Моро, который ежеминутно мог напасть на него. Ввиду этого Суворов еще ночью, накануне второго сражения, под разными благовидными предлогами обеспечил себе, на случай особенной крайности, отступление. Вообще говоря, третий день боя требовал от войск Суворова самой отчаянной храбрости и напряжения сил армии до крайней степени, при условии притом большого искусства и особенной находчивости во всех затруднительных обстоятельствах. И тем не менее, в конце концов новый бой к 6 часам закончился полным и поспешным отступлением французов, причем некоторые части даже прямо-таки бежали с поля сражения. Армия Макдональда была так сильно разбита во всех ее частях, что, воспользовавшись ночной порой, бежала, чтобы спастись от окончательного истребления ее.

Награды за Требию были очень щедры... Суворов получил портрет государя, оправленный в бриллианты, при рескрипте. Австрийцы были в

восторге от победы при Требии, так как за несколько дней перед этим Макдональд наголову разбил большой отряд Гогенцоллерна. Но этот восторг ничем не проявился в отношении Суворова, к которому австрийский двор вместо признательности питал неудовольствие. Между тем, отнюдь не Суворов, а именно австрийское правительство вызывало своим корыстолюбием и недобросовестностью величайшее негодование.

У последнего была только узкокорыстная цель, чтобы урвать какую-либо часть Италии на свою долю. Вот почему и план, предложенный Суворову четырьмя членами гофкригсрата, и инструкция, врученная на прощальной аудиенции императором Францем, в сущности сводились к тому, чтобы ограничить военные действия Аддою. Но так как Суворов, считая такое распоряжение нелепостью, с первых же дней сделал *несравненно больше*, то одновременно с тем, как он сообщал венскому кабинету свой военный план относительно всего Итальянского полуострова и последующих действий, венская тугутовская камарилья, в свою очередь, послала ему дерзкое подтверждение *“ограничивать главные действия левым берегом По”*. Но прежде чем получить это “подтверждение”, Суворов перешел По и сделал это, как мы знаем уже, под влиянием неотвратимых, безотложных обстоятельств и условий на театре войны. Тугут же и К. не унимались, натравили на Суворова императора Франца с требованием, чтобы Суворов *не предпринимал ничего, не испросив предварительно* разрешения венского кабинета, то есть иначе – все того же Тугута. Конечно, Суворов не исполнил, не мог и не должен был исполнять этого возмутительного требования после предоставленной ему “полной самостоятельности” на театре войны. Если бы, например, Суворов послушался тупоголовой венской камарильи, он несомненно был бы положительно уничтожен под Требией со всем союзным войском. Но, тем не менее, в Вене злобствовали на Суворова за его непокорность нелепым и вредным внушениям, и так грубо и недостойно вели себя в отношении этого гениального полководца, что даже не поблагодарили его за победы при Требии, столь важные для австрийцев.

Вскоре после победы при Требии, убедившись в *полной безвредности* армии Моро, не сумевшей подоспеть вовремя, а затем *трусливо* втянувшейся в горы и прятавшейся там, Суворов сделал распоряжение о немедленной осаде Мантуи, которая сдалась 19 июля. Ни одна победа Суворова не встречалась в Австрии с такой горячей радостью, как взятие Мантуи, с которой венская камарилья приставала к Суворову во все время, чуть не с начала кампании. Тем не менее, Тугут и К., недовольные Суворовым за неисполнение их идиотских распоряжений, так ловко

обошли императора, что Суворов даже и на этот раз *остался без всякой награды* со стороны Австрии, даже без всякого выражения *благодарности!*.. Зато император Павел возвел Суворова в княжеское достоинство, ститулом *Италийского*, в “воздание за славные подвиги”. Притом Павел выразил Суворову удивление, что “Римский (австрийский) император трудно признает услуги (Суворова) и воздаёт за спасение своих земель учителю и предводителю его войск”.

Это замечание ободрило Суворова и поддержало давнее его намерение – продолжать *наступление* по своему плану, на свой личный страх и риск. Мнение Павла важно было для Суворова, так как, чем более разрастались его победы, тем недостойнее и возмутительнее становилось отношение к нему венского двора.

Черная неблагодарность австрийцев распространялась не на одного только Суворова, но и на все русские войска, самоотверженно сражавшиеся за австрийские интересы и так горько *бедствовавшие* во все время кампании, вследствие гнуснейшей *недобросовестности* австрийского интендантства. Дело дошло даже до того, что высочайшие повеления из Вены посылались австрийским войскам непосредственно, помимо Суворова, без его ведома. Под влиянием столь прискорбных и возмутительных обстоятельств Суворов, наконец, решил бросить так блистательно веденное им дело и отправиться домой. 25 июня он отправил в Петербург прошение, в котором просил Павла об отозвании его в Россию.

Эта просьба объяснила, наконец, императору Павлу истинные причины тех неудовольствий, о которых так много ходило слухов. Он категорически просил Франца II принять меры, чтобы гофкригсрат не давал самостоятельно предписаний главнокомандующему, так как это неизбежно должно повести к самым губительным последствиям. В рескрипте же Суворову от 31 июля государь безусловно предоставил дальнейшие военные операции “*искусству и уму Суворова*”, то есть дал ему *полную самостоятельность*. Гофкригсрат же так *распустился*, что совершенно произвольно, ни с чем не справляясь, порешил *считать военные действия на полуострове законченными*. Суворов был особенно возмущен самоуправством и ошибочностью этих распоряжений, так как ему достоверно было известно о новой угрозе – о наступлении неприятеля...

Он обратился ко всем австрийским генералам не только с приказанием, но и с просьбой – “спешить всеми распоряжениями, не останавливаясь никакими жертвами”, и дал им на это десять дней сроку. Главным же местопребыванием Суворова, после войны при Требии, была Александрия, куда и созывались все военачальники. Тревога была как нельзя более

уместна. Французская директория из побед Суворова уразумела, что этому полководцу *“несомненно открыт путь”* в Париж. Ввиду этого итальянской армии дали нового главнокомандующего, генерала Жубера, человека глубоко просвещенного, обладавшего громадным военным дарованием и замечательным мужеством. Ему не было еще 30 лет, но он около трех лет уже состоял главнокомандующим и пользовался большой любовью и популярностью в войсках. Директория же *предписала* ему *“безотлагательное наступление”*.

Как только Суворову стало известно о передвижениях французских передовых постов в Апеннинах, он понял, что готовится наступление. Со своей стороны, Суворов решил начать наступление 4 августа, но его предупредили французы. На рассвете, 3 августа, одно крыло французской армии подошло к Нови. Стоявший там отряд Багратиона отступил с легкой перестрелкой, как было ему приказано ранее. Точно так же не было оказано препятствий и другому крылу, а потому французы беспрепятственно соединились на позиции.

Жубер приехал в армию еще 24 июля. Моро, передав ему войска, тем не менее, остался при армии, предложив своему преемнику содействие на первых порах, что и было принято им с благодарностью. Появление Жубера сильно подняло дух французских войск. Ввиду этого он намеревался немедленно броситься на союзные войска. Но его предупредили, что под Александрией – весьма многочисленная армия (около 65 тысяч человек). У Жубера же было всего 35 тысяч человек; но чрезвычайно выгодная позиция на возвышенностях уступами в несколько раз увеличивала силу его армии. Тем не менее, когда он, беспрепятственно заняв эту позицию, выехал 3 августа на высоты у Нови и окинул взором армию союзников, – он сразу догадался, что тут – *вся армия*, что с осадой почти всех крепостей дело кончено. Им овладело беспокойство с примесью отчаяния. Он созвал военный совет, который высказался за отступление в ожидании содействия альпийской армии. Но ввиду многочисленности союзной армии и отступление было крайне опасно. Жубер обещал через два часа прислать диспозицию к отступлению. Но время шло, – и он ни на что не решился. Ему все казалось, что отступить должен именно Суворов...

Но все боевое поприще Суворова прошло в поражении неприятелей, занимавших всегда наиболее выгодные позиции. Суворов с самого утра 3 августа был на коне и разъезжал по войскам, неожиданно появляясь то в одном, то в другом месте, внушая войскам, что французов надо выманить с гор в чистое поле и побить; а если они не пойдут, – идти к ним и побить их в горах. Ожидая начала боя с минуты на минуту, он лично сам произвел

рекогносцировку неприятельской позиции. Он, в сопровождении лишь одного казака, выехал к своей передовой цепи, находившейся на близком ружейном выстреле от неприятельской, и поехал вдоль ее. Французские генералы, смотревшие в подзорные трубы, узнали Суворова по его одежде, состоявшей из рубашки и полотняного исподнего белья. Неприятельская цепь открыла сильный огонь. Позади ее стала собираться кавалерия... Суворов спокойно повернул назад и возвратился в наилучшем расположении духа, *с полной уверенностью* в победе.

Бесполезно прождав нападения весь день, Суворов назначил атаку на следующее же утро (4 августа), чтобы не дать неприятелю возможности ни уйти, ни укрепиться на позиции. Созванный им военный совет хотя считал атаку *в высшей степени рискованной и опасной*, но, именно ввиду *опытности и дарований* своего главнокомандующего, признал ее возможной. 4 августа, еще до рассвета, началась атака правого неприятельского крыла. Раздавшаяся перестрелка сразу уничтожила все надежды Жубера. Он поскакал в цепь застрельщиков и был убит пулею наповал. Командование армией принял на себя Моро.

Бой велся с ожесточеннейшим упорством с обеих сторон. По несколько раз возобновлялись атаки, но, после временного успеха, обыкновенно отбивались, кроме одного неприятельского крыла, где была одержана уже полная победа. Страшный зной истомил войска, так что некоторые падали от расслабления и жажды; даже легкораненые умирали от изнурения. В первом часу Суворов прекратил бой, чтобы дать войскам отдых. После двухчасового отдыха и подкрепления сил, в 3 часа дня вновь завязался бой с еще большим ожесточением и напряжением сил с обеих сторон, причем вся французская артиллерия, помещенная на высотах, открыла адский огонь. Но теперь Суворов получил подкрепление в 8 тысяч человек, благодаря чему союзные войска после упорнейшего и кровопролитного боя тоже взобрались, наконец, на высоты и даже зашли в тыл неприятелю. В 6 часу вечера началось отступление французов, вскоре обратившееся в бегство по всем направлениям. Их гнали, рубили, забирали в плен целыми группами. Только наступившая ночь положила конец этому. Войска, истомленные более чем полусуточным непрерывным и упорным боем, заночевали на самом поле сражения.

Государь почтил Суворова рескриптом в самых лестных выражениях о том, что он как главнокомандующий *“поставил себя выше наградений”*. Но государь все-таки нашел награду, притом самую лестную для фельдмаршала. Высочайше повелено, чтобы все войска даже в присутствии государя отдавали Суворову воинские почести, следующие по уставу

только особе императора.

Глава XI. Беспрецедентная слава, опала и смерть. 1799 – 1800

Всеобщее прославление Суворова. – Вероломство и предательство Австрии. – Швейцарская экспедиция как сплошной победный путь. – Победа над французами и над коварством австрийцев. – Возвращение в Россию. – Опала. – Смерть

Победа при Нови изумила всю Европу, придала имени Суворова еще больший блеск, сделала его всесветной знаменитостью, предметом всеобщего изумления и даже благоговения всей антиреволюционной Европы. Сардинский король Карл-Эммануил, например, сделал Суворова “великим маршалом пьемонтских войск и грандом королевства, с потомственным титулом принца и кузена короля”. Турин поднес Суворову золотую шпагу, осыпанную драгоценными камнями, с благодарственной надписью. Асти, где поселился Суворов и провел три недели после окончательного разгрома французов при Нови, сделалось в некотором роде местом паломничества. Туда являлись не только путешественники, но и люди, нарочно прибывшие, чтобы взглянуть на *непобедимого полководца*, побеседовать с ним, пожать ему руку. По поводу отличий, пожалованных Карлом-Эммануилом, Павел писал:

“Через сие вы и мне войдете в родство, быв однажды приняты в одну царскую фамилию, потому что владетельные особы между собой все почитаются роднею”.

Помимо Италии и России, в Англии тоже Суворов был первой знаменитостью эпохи, любимым героем. Кроме ежедневно появлявшихся газетных статей о нем, выходило очень много особых брошюр серьезного и юмористического характера, жизнеописаний, карикатур и прочего. Выдумывание особых “суворовских” пирогов, причесок, шляп и прочего доказывает, что имя Суворова в Англии было предметом выгодной моды и спекуляции. В честь его в театрах пели стихи, за обедом ежедневно провозглашали тосты во дворцах, ресторанах и хижинах. Его изображения получили повсеместное распространение в Европе.

Но чрезвычайно резкое исключение представляет в этом отношении Австрия. Она больше всех была обязана Суворову – и игнорировала его

заслуги. Даже и для *кричащей* победы при Нови не было исключения. Венский кабинет не только отнесся к ней со своей обычной напускной холодностью, но сделал даже и возмутительную дерзость, послав Суворову “повеление”, в котором доказывалась *“бесцельность”* победы при Нови. Это сделано с целью *оскорбить* Суворова, чтобы скорее *избавиться* от него, так как его присутствие мешало захвату чужих земель. В этих видах Австрия *“подстроила”* соглашение союзников, чтобы в Италии оставались только австрийские войска, русские же перешли бы в Швейцарию. Стараясь как можно скорее запрянуть русскую армию в Швейцарию, австрийцы, вместе с тем, обставили ее такой *системой* вероломства и предательства, которая обрекла армию на самые ужасные бедствия во все время пребывания ее в Швейцарии.

Согласно, например, новому распределению союзных войск, в Швейцарию, ранее прибытия туда войск Суворова, должен был вступить корпус Римского-Корсакова (около 30 тысяч человек). Находившиеся же в Швейцарии австрийские войска под начальством эрц-герцога Карла, обязаны были вовсе очистить Швейцарию от французов и ни в каком случае не уходить из страны до полного сбора русских войск, назначенных в Швейцарию. Но австрийцы провели в Швейцарии все время в бездействии. Едва же успел вступить корпус Корсакова, как венский кабинет предписал эрц-герцогу немедленно вывести свои войска из Швейцарии, оставив, таким образом, русский корпус в беспомощном положении перед неприятельской армией около 80 тысяч человек. По этому поводу от Павла I последовал рескрипт, в котором Суворову давалось полномочие *на все могущие произойти случаи* и признавалось нужным, *“по овладении всеми крепостями в Италии, соединить все русские войска в Швейцарии и действовать оттуда – куда и как заблагорассудит”*.

Другим же рескриптом Павел сообщил в Вену, что он вынужден отделить свои войска от австрийских и предоставить им независимое действие в Швейцарии под начальством Суворова. В конце же рескрипта добавлено:

“Весьма желаю, чтобы император римский один торжествовал над своими врагами, или чтобы он снова убедился в той истине, столь простой и семилетним опытом доказанной, что, для низложения врага, бывшего уже раз у самых ворот Вены, необходимы между союзниками единодушие, правдивость и в особенности искренность”.

Замечательно, что не прошло и года после этого, как австрийцы были окончательно *разгромлены* французами и сразу *потеряли* все завоевания, приобретенные для них Суворовым...

Войска Суворова получили возможность отправиться 31 августа в Швейцарию к С.-Готарду. Они шли налегке; все же их тяжести были отправлены кружным путем к определенным пунктам. Но, совершенно неожиданно, явилось весьма серьезное затруднение по вине австрийцев. Готовясь к выступлению из Италии, Суворов просил австрийское интендантство снабдить русские войска мулами для горного прохода, так как их было изобилие у австрийцев. Дав мулов только под горную артиллерию, интендантское ведомство уверило, что им сделаны уже должные распоряжения, и мулы будут ожидать русских в Белинцоне. Назначив атаку С.-Готарда на 8 сентября, Суворов намеревался быть на месте 6 сентября. Но, прибыв форсированным маршем в Таверну 4 сентября, он был до крайности оскорблен и поражен известием, что вместо ожидавшихся 1 430 мулов – *ни одного!*.. Наконец пришло несколько сот мулов, но и те были законтрактованы *только до Белинцоны*, так что их пришлось переконтрактовать на весь поход, то есть платить столько, сколько пожелают погонщики. Потом еще прибавилось несколько сот мулов. В путь можно было тронуться только утром 10 сентября, то есть на два дня позже срока, назначенного для атаки С.-Готарда. Потеря же каждого часа болезненно отзывалась в душе Суворова, мучительно трепетавшего за судьбу войск, попавших по недоразумению в Швейцарию раньше времени. Между тем и весь последующий его путь представлял собой сплошное препятствие самой крайней степени, притом опять-таки всецело по вине австрийцев.

Мы говорим о плане швейцарской кампании, необычайно сложном и как бы намеренно рассчитанном буквально на *непроходимые препятствия*. Удовлетворительным считается, например, путь по Швейцарии через Сплюген, Кур и Сарганс, который и выбрал Суворов. Но австрийцы навязали ему план движения через С.-Готард, в долину Рейсы. Суворов считал себя даже не вправе оспаривать план, предложенный ему австрийцами, имевшими давние сношения с Швейцарией и долженствовавшими хорошо знать эту страну. Ввиду этого, сама разработка плана была поручена офицерам австрийского генерального штаба, то есть лицам, у которых должна быть даже и специальная подготовка в отношении Швейцарии. Наконец выработанный таким образом план похода был на заключении у троих австрийских военачальников (Штрауха, Готце и Линкена), находившихся на швейцарской территории. На поверку

же план этот оказался *диким, невообразимым вздором и вымыслом* самого низкопробного свойства, отмеченным печатью *вероломства и предательства*, как это и увидим ниже.

Главные силы Суворова (корпусы Багратиона и Дерфельдена) тронулись 10 сентября из Таверны к Белинцоне; Розенберг же из Белинцоны двинулся по реке Тичино. Погода была ужасная; шел проливной дождь при сильнейшем ветре. Люди выбивались из сил, срывались и разбивались в пропастях. Тем не менее, в трое суток пройдено 75 верст, и отсталых было весьма немного. Дух войск был наилучший. Суворов неотлучно был между солдатами, в первых их рядах, представляя собой пример *первого солдата* армии. Начиная с Таверны и до конца похода, при нем неотступно находился 65-летний старик, Антонио Гамма, хозяин гостиницы, где квартировал Суворов. При первом же знакомстве с непобедимым полководцем Гамма почувствовал к фельдмаршалу такое влечение, что бросил все решительно, несмотря ни на какие отговоры семьи отправился сопутствовать ему, служил иногда проводником и вообще принес войску немало пользы.

Грозно смотрел С.-Готард на русские войска, охраняемый 9 тысячами французов, силы которых увеличивались в несколько раз вследствие чрезвычайно выгодных условий защиты и крайней затруднительности атаки, особенно же для войск, совсем неприспособленных к горной войне. Войскам нередко приходилось карабкаться чуть не по отвесным скалам, на глаз, без признаков тропинки; а французы на выбор били их в это время из-за камней и скал. Две атаки были отбиты; во время же третьей атаки, на снежных вершинах, против неприятельской позиции, показались русские солдаты. Это так поразило французов, что они моментально оставили С.-Готард и были заменены русскими.

Скоро наступила ночь и закутала туманом русских и французов. Тогда русским велено было спуститься вниз без всякого шума. А так как спуск был очень крут, то большинство скатывалось сидя. Таким образом у подошвы горы были выстроены войска, которые затем, дав ружейный залп, бросились в штыки с криком “ура” на невидимого врага. Прежде чем французы успели опомниться, они были смяты, опрокинуты и обратились в бегство. Генерал Лекурб, командовавший С.-Готардским отрядом, воспользовался ночной темнотой, побросав все орудия в Рейсу, перебрался через дикий горный хребет Бетиберг (7 800 футов) и утром расположился на пути Суворова у деревни Гешенен. Действительно, Суворов на следующий же день боя, в 6 часов утра, отправился в том же направлении, вниз по Рейсе. В расстоянии около версты дорога по правому берегу

врезается в утес, отвесно спускающийся к реке, так что для сообщения в скале пробит туннель Урнер-Лох, в 80 аршин длины и 4 аршина ширины. За ним, ниже по течению, дорога лепится по отвесной стене, словно карниз, и круто спускается к *Чертову мосту*, над пропастью на высоте 75 футов от воды, около 30 аршин длиной. Путь через мост и Урнер-Лох при самой даже слабой защите легко сделать непроходимым. Но ввиду этого были предприняты следующие смелые и остроумные меры. В помощь к атаке с фронта произведены два обходных движения: *одно* (в 300 человек) – вправо, в горы над Урнер-Лохом, в целину, даже без следов тропинки; *другое* (в 200 человек) – через каменистое ложе Рейсы, со спуском и подъемом по скалистым, почти отвесным берегам, вброд по ледяной воде до колена или по пояс, при необычайной быстроте течения. Добравшись до левого берега, люди стали карабкаться по крутизнам, на вид совершенно неприступным. На подмогу им был послан целый батальон. Но в это время закончился уже и обход через Урнер-Лох. Французы, изумленные этим, отступили с такой поспешностью, что не успели даже разрушить моста, а повредили лишь одну из его арок. Повреждение немедленно было исправлено при помощи досок и бревен ближайшего разобранного *сарая*, а равно – и офицерских шарфов, употребленных на первых порах для скрепления. Теперь здесь – памятник, открытый в сентябре 1898 года.

Преследуя французов по пятам, русские войска отбросили Лекурба за Альторф. Но здесь Суворова ожидал жестокий удар: ему пришлось убедиться воочию в *безусловной неосуществимости* принятого им плана кампании, так как он был основан на дутых данных, не существующих в действительности. По плану, например, обязательный путь лежал из Альторфа на Швиц будто бы по *“береговой дороге”* Люцернского озера, которой, в действительности, *вовсе не существовало*. Озеро же находилось в распоряжении французов. Значит в Альторфе, по милости австрийских составителей плана кампании, Суворов, что называется, был *приперт к стене...*

Глубоко изумленный и оскорбленный этим вероломным предательством, он, тем не менее, без колебаний и сомнений принял окончательное решение – *подвигаться вперед во что бы то ни стало*, придерживаясь, в общем, однажды установленного плана, связавшего его с отрядами ранее находившихся в Швейцарии войск. Оставаясь верным этому плану, Суворов, несмотря на все затруднения и препятствия, опоздал только на один день. Он ничего не знал о катастрофе, постигшей уже в это время отряд Корсакова, а потому и решил немедленно же отправиться к Швицу, как было установлено. Для этого ему пришлось избрать такой путь,

которым *не двигалась ни одна армия* в мире ни до, ни после него. Это – ничтожнейшая горная тропинка, не везде даже заметная, через Росштокский хребет к деревне Мутен.

В продовольствии была крутая нужда. Что имели при себе и добывали в пути, почти все уже съели. Во выюках было немного, да и те отстали, а часть их погибла в пропастях. Люди были измучены непривычным переходом; обувь изорвана. Выючный скот, особенно же лошади, сильно обессилены или даже вовсе брошены по негодности. Суворову было невыразимо тяжело за войска...

Рано утром 16 сентября войска тронулись в путь. Впереди шел Багратион; за ним следовали другие войска; Розенберг прикрывал с тыла; арьергард же его должен был держаться у Альторфа, пока пройдут все отставшие выюки. Путешествие было невыразимо бедственное. Приходилось двигаться в одиночку, по скользкому пути, взбираясь как бы по ступеням, с трудом вмещавшим подошву ноги. Опасность сорваться и убиться – на каждом шагу. Если не от дождя, то от тумана на высоте облаков одежда была промочена. Дул резкий ветер, пронизывающий насквозь. На привалах голый камень не давал ничего для бивачного огня. Обувь, неприспособленная к горному путешествию, в несколько часов пришла в негодность. Суворов всегда был на виду у солдат. Проезжая как-то мимо солдат, расположившихся на широком месте отдохнуть, промокших, голодных, сумрачных, он затянул песню: “Что с девушкой сделалось, что с красною случилось?” – и мигом оживил всех.

Расстояние между Альторфом и Мутеном около 16 верст; на прохождение же их потребовалось 12 часов. Хвост колонны прибыл туда на другой день к вечеру, а выюки тянулись еще двое суток. Это – единственный по необычайной трудности путь, почему он и обозначается на многих картах Швейцарии надписью: “Путь *Суворова в 1799 году*”. Несмотря на ужасные условия перехода потеря людьми была незначительна; в некоторых, например, полках вовсе не было убиавшихся.

Авангард Багратиона блистательно выполнил свою задачу. Незаметно окружив деревню Мутен, он захватил целиком весь французский пост (150 человек) со всеми его пожитками. Превосходно исполнил также свою трудную задачу и арьергард Розенберга. Дважды атакованный многочисленными французскими войсками, он дал им такой энергический отпор, что выюки затем беспрепятственно втянулись в горы.

Находясь в Мутенской долине и поджидая подхода всех войск, Суворов 17 сентября собрал необходимые сведения, и результат оказался весьма плачевным. Корпус Корсакова и австрийский отряд Готца

поочередно разбиты 14 – 15 сентября и далеко отброшены. По меткому выражению офицеров, это поражение нанесено вовсе не неприятелем, а собственными генералами, не сумевшими даже действовать заодно для отпора неприятелю. Готце был убит в начале сражения. Другие австрийские отряды (Елачича и Линкена), у которых было достаточно войска, чтобы самостоятельно посчитаться с неприятелем, не примкнули ни к Корсакову, ни к Готце, не соединились между собой, а постыдно ретировались, не предприняв ровно ничего, чтобы соединиться с Суворовым, даже не предупредив его о себе, чтобы он не рассчитывал ни на какую поддержку и помощь с их стороны.

Таким образом, Суворов был покинут всеми, оставлен в одиночестве против обширных неприятельских сил, без продовольствия, без артиллерии. В Мутенской долине он очутился, как в западне, между двумя сильными неприятельскими армиями: в Швице – Массены, в Гларисе – Молитора. Массена так был уверен в самом полном поражении русских, что, нарочно посетив пленных русских офицеров, дал им категорическое обещание увеличить через несколько дней их общество фельдмаршалом и великим князем. Ввиду такого отчаянного положения 18 сентября Суворов созвал военный совет, перед которым излил свою исстрадавшуюся душу. Он перечислил все, известные уже читателям, затруднения и бедствия, которые пришлось испытать от Тугута и гофкригсрата вследствие их вероломства и предательства. Речь свою Суворов закончил словами:

“Помощи ждать неоткуда, надежда только на Бога да на величайшее самоотвержение войск, вами предводимых”.

В ответ на это 10 генералов, все люди даровитые и преданные Суворову, единогласно ответили, что

“какие бы беды впереди ни грозили, какие бы несчастья ни обрушились, – войска вынесут все, не посрамят русского имени, а если не суждено им будет одолеть, то по крайней мере они лягут со славой”.

Таким образом, нравственная связь между войсками и главнокомандующим была засвидетельствована и скреплена “на жизнь и смерть”. Ввиду этого Суворов без колебаний заявил: “будет двойная победа — и над неприятелем, и над коварством”.

Вследствие исчезновения союзников оставалось заботиться только о

спасении русской армии. Поэтому вместо первоначального плана похода на Швиц предпринято движение на Гларис. Но это был в высшей степени рискованный шаг, так как и в Швице, и в Гларисе находилось по сильной неприятельской армии. Ввиду этого, войска были распределены так: выделено по сильному авангарду и арьергарду, остальная же часть войск – с вьюками – занимала центральное положение, где находился и Суворов.

Авангардному отряду князя Багратиона пришлось выдержать упорнейший двухдневный бой. Сначала он совершенно разбил войска Молитора и гнал их по узкой горной дороге 6 верст, но затем тот получил подкрепление значительными свежими силами, и перешел в наступление. Около 6 раз переходила из рук в руки деревня Нефельс, оставшаяся, наконец, все-таки в руках Багратиона. Но в планы Суворова не могло уже входить уничтожение неприятельской армии, – и он, не дав Багратиону подкрепления, приказал отступить к Нетсталю, где сам находился с войсками и вьюками.

Упорную, тоже двухдневную, битву выдержал и арьергардный отряд под начальством Розенберга. Отразив сильный рекогносцировочный отряд Массены 19 сентября, русские подверглись 20 сентября новому нападению со стороны Массены, в размере всех его сил (10 тысяч человек против 7 тысяч русских). На этот раз французы в паническом страхе бежали с поля сражения, побиваемые их же собственными пушками. Поражение было такое сильное и полное, что французы начали кое-как устраиваться лишь позади Швица. При этом на долю русских досталось немало разного рода съестных припасов, денег и вина. Побитый Массена не в состоянии был даже задержать Розенберга, который, несмотря на чрезвычайно затруднительный перевал через горный кряж Брагель, успел уйти раньше, чем Массена надумал погнаться за ним. Вообще же он был наказан за свое *самохвальство* в отношении русских и *восторгался дарованием* Суворова.

Все войска были стянуты к Гларису 23 сентября, где каждый солдат получил по немного пшеничных сухарей и по фунту сыра. В общем же положение армии было невыразимо отчаянное. Люди были оборваны и босы, истощены походами, непрерывными боями и голодом. Патронов почти уже вовсе не было, как и артиллерии. Вьючного обоза не осталось и половины. Не только офицеры, но и генералы не выделялись из общего уровня нужды, лишений, нищеты, оставаясь, например, в сапогах без подошв. Но впереди их ожидало *еще более жестокое и отчаянное испытание...*

В Гларисе Суворов рассчитывал на некоторое материальное содействие и поддержку со стороны австрийского отряда Линкена, который

должен бы быть здесь. Но тот, по обыкновению австрийцев, без всякого повода и права, отступил на Граубинден, не предупредив даже Суворова. Армия Суворова не получила никакой поддержки и помощи; а между тем ей предстоял переход через горный хребет Ренгенкампф (Паниксер), который был в высшей степени затруднителен, вследствие внезапно выпавшего в горах большого снега. Армия направлялась к выходу из Швейцарии, в Кур, где приказано было заготовить к 25 сентября провиант для русских войск на два дня.

В ночь с 23 на 24 сентября войска тронулись в путь. Утром, узнав об этом, французы бросились вдогонку. Когда вьючный обоз еще втягивался в горное ущелье, французы бросились в атаку и сильно потрепали казаков. Но на беду французов арьергардом командовал Багратион, один из самых даровитых военачальников, особенно удачно и сильно бивший французов во время итальянской и швейцарской кампаний. Несмотря на утомление и истощенность русских войск, численность которых была в два с половиной раза менее чем у французов (2 тысячи против 5 тысяч человек), несмотря на то, что граду французских пуль и пушечных ядер русские ничего не могли противопоставить, кроме штыка, — они не только отбивали атаки, но с такой силой отбрасывали французов, что успевали переходить на другие позиции и выстраиваться там для нового боя, постепенно, однако, подвигаясь при этом правильно вперед, убедившись, наконец, в крайней убыточности для себя такого преследования русских, французы прекратили его, — и после полуночи 25 сентября арьергард Багратиона спокойно продолжал путь.

В общем же итоге, таким образом, весь *многострадальный* путь русских через Швейцарию — *славный победный путь*, беспримерный в истории, заслуживающий тем большего внимания, что решительно *все*, начиная с природы и кончая людьми, *было против армии Суворова*, не благоприятствовало ей.

Ночь же 25 сентября была *страшной* ночью для русских: холодная, многоснежная, сырая, темная, с бурным ветром. По крутому подъему на высокий снеговой хребет извивалась тропинка, допускавшая движение только в одиночку. Большею частью она шла по косоугору, иногда по отвесным обрывам, беспрестанно спускаясь в глубокие пропасти с горными потоками. Сначала люди вязли в грязи, потом в снегу, оставляя в последнем измокшую, истоптанную обувь. Чем выше, тем становилось труднее. Войска карабкались наобум, так как снег занес тропинку, проводники разбежались, а тучи обволокли все небо непроницаемой мглой. К ночи большая часть войск едва добралась до вершины горного

хребта. Каждый остановился там, где застала его непроницаемая ночная тьма. Таким образом, люди в промокшей, легкой, изношенной одежде, в негодной обуви или даже совсем без нее, голодные, утомленные карабканьем на четвереньках по горам, лишенные топлива, – были лишены даже последнего согревающего средства – движения, и, словно окаменелые, стояли беззащитными на ветру и вьюге. Ужаснее такого положения ничего нельзя себе представить. А к утру еще и подмерзло... Бесконечной казалась эта *адски мучительная* ночь, бывшая для многих *последней*. Немало людей отморозили себе разные члены...

Спуск с горы 26 сентября был даже труднее подъема, потому что ветер сдул снег и тропинки были покрыты льдом. Люди предпочитали скатываться с гор сидя; животные же срывались и убивались. К полудню войска прибыли в деревню Паке, по ту сторону горного кряжа; вечером они добрались до города Планца, где им удалось добыть дров и обогреться. На следующий день прибыли в Кур, где им действительно было приготовлено все необходимое, до мясной и винной порции включительно. И эти люди, безропотно, с холодным мужеством перенесшие сложную цепь *нечеловеческих* бедствий, наскоро подкрепив свои силы, с необычайной бодростью и оживлением принялись за починку своей и офицерской одежды и обуви. Лагерь разом закипел жизнью. Энергическая работа велась с разговором, шутками, смехом, остротами и песнями. Нельзя было поверить, что эти люди на всем пути от С.-Готарда до Куры, в течение 17 дней, не знали ничего, кроме самых отчаянных лишений, а несколько часов тому назад – находились в последней степени *обездоления*... Уже к вечеру того же дня армия Суворова имела удовлетворительный вид. Нового же октября армия эта в совершенно обновленном виде прибыла в Фельдкирх и расположилась там лагерем.

Несмотря на явную *противоестественность* условий этой кампании, Суворов потерял из всего состава армии лишь *третью* часть ее, то есть столько, сколько уносит иногда одна битва. Таким образом, хотя Суворов не достиг той цели, которая имелась в виду при его отправлении на театр войны, но он достиг кое-чего даже большего. Обстоятельства так сложились, что он *должен был погибнуть* вместе со *всею русскою армиею*; а между тем, он *спас* ее *при обстоятельствах совершенно безнадежных*, — спас именно как армию *непобедимую* во все время этой *беспримерно бедственной и беспримерно же славной кампании!*.. Это – венец его военного дарования, блестящее подтверждение всей его военной теории. Император Павел вполне справедливо оценил это, возведя Суворова в звание *генералиссимуса*, но признав при этом, что для него даже “мало”

такой награды. Вместе с тем военной коллегии было повелено сноситься с Суворовым не “указами”, а “сообщениями”.

В Петербурге только в двадцатых числах октября были, наконец, получены точные известия о швейцарской кампании и ее исходе. Но еще раньше этого произошел окончательный разрыв с Австрией. Как только император Павел узнал о поражении корпуса Корсакова, он безотлагательно написал (11 октября) резкое письмо австрийскому императору, в котором обвинял австрийцев за поражение Корсакова, и объявил им *полный разрыв*. Вместе с тем последовало и распоряжение Суворову заняться подготовлением к обратному походу в Россию. Этот “разрыв” произвел сильное впечатление в Европе, которая была *поражена* швейцарской кампанией Суворова, представлявшей собой непрерывный *подвиг* глубоко драматического свойства. Во всех местах продолжительных остановок (Линдау, Аугсбурге, Праге) Суворов и его войска вызывали самые восторженные и душевные оvationy. Отношение же лично к Суворову граничило с *благоговением*. Русское общество гордилось Суворовым и восторженно поклонялось ему. Павел I был, можно сказать, выразителем этого национального настроения, свои рескрипты он сопровождал изъявлениями самого милостивого расположения к генералиссимусу, говорил о своем с ним единомыслии, спрашивал советов, извинялся, что дает наставления.

Даже спохватился до некоторой степени и император Франц, приславший Суворову большой крест Марии-Терезии, заявив при этом в рескрипте:

“Я буду вспоминать с чувством признательности о важных услугах, мне и моему дому вами оказанных”.

Вместе с тем он оставил Суворову звание австрийского фельдмаршала и жалованье в 12 тысяч гульденов. Позже он еще раз повторил Суворову заявление “искреннего своего уважения” к нему и “*признательности*” за “услуги”, которые, наконец, были-таки признаны.

Упиваясь славой и всеобщим поклонением, величайший из генералиссимусов, проводя рождественские праздники 1799 года в Праге (в Богемии), с юношеским увлечением предавался всевозможным святочным играм и забавам, которые он страстно любил и обязательно справлял всегда со всею ширью русской натуры. ОТЕЛЬ, в котором он жил, привлекал к себе всеобщее внимание, осаждаемый множеством посетителей, ловивших каждое слово причудливого хозяина, дороживших малейшим его

вниманием. Даже его чудачества и причуды, на которые он был особенно щедр в это время, ничем не затрудняясь и ни над чем не задумываясь, принимались с полной благосклонностью, как одно из доказательств этой *беспримерно своеобразной и привлекательной личности*, по ее непосредственности, живости, остроумию, обширности и разносторонности познаний. Суворов в это время всех *благословлял*, — и это установилось само собою, так как обращавшиеся к нему искали его благословений, дорожили ими.

Оставив Прагу, Суворов вскоре же почувствовал себя настолько нездоровым, что вынужден был остановиться в Кракове. Не желая поддаваться болезни, он пробыл в Кракове несколько дней и отправился в Кобрин, где уже окончательно слег. Намереваясь пробыть в Кобрине 4 дня, он, тем не менее, так сильно расхворался, что пролежал там около 40 дней. Болезнь его началась сильнейшим кашлем, но затем осложнилась вередом^[6] по всему телу. Болезнь быстро развивалась и осложнялась. Потеряв, наконец, всякое терпение, он обратился к содействию двух местных врачей. Болезнь, однако, все усиливалась. Ввиду этого остававшийся все время при Суворове князь Багратион уехал с донесением об этом Павлу I. Тот немедленно же прислал к Суворову сына его и лейб-медика Вейкарта. Суворов, однако, упорно отказывался систематически лечиться и ест скоромное (тогда был великий пост), говоря, что он — “солдат”. Доктор напомнил ему, что он генералиссимус. “Правда, — ответил Суворов, — но солдат с меня пример берет”.

В это время Павел относился к нему внимательно и милостиво. В Петербурге же готовился триумф в честь генералиссимуса, о чем весть за вестью неслась в Кобрин.

Для Суворова были отведены комнаты в Зимнем дворце. В Гатчине должен встретить его флигель-адъютант с письмом от государя. Придворные кареты высылаются до Нарвы. Войска выстроить шпалерами по обеим сторонам улиц и далеко за заставою столицы. Они должны встретить генералиссимуса барабанным боем, криками “ура”, пушечной пальбою, при колокольном звоне. Вечером — иллюминация всей столицы.

Конечно, все эти “вести” действовали на Суворова существеннее лекарств Вейкарта, но, к прискорбию, все оказалось *миражом*... Когда силы Суворова несколько восстановились, его повезли в Петербург, но со всевозможными предосторожностями: крайне медленно; в лежачем положении, в дормезе^[7], на перине, генералиссимуса, который и без того представлял теперь только тень прежнего Суворова, всегда подвижного, как

ртуть. Но, пока он был на пути в Петербург, его ждал жесточайший удар. При пароле 20 марта 1800 года было объявлено в Петербурге высочайшее повеление:

“Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел при корпусе своем, по старому обычаю, непрямого дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии”.

В тот же день последовал и рескрипт:

“Господин генералиссимус, князь Итальянский, граф Суворов-Рымникский. Дошло до сведения моего, что во время командования вами войсками моими за границу, имели вы при себе генерала, коего называли дежурным, вопреки всех моих установлений и высочайшего устава; то и удивляясь оному, повелеваю вам уведомить меня, что вас побудило сие сделать”.

Все это так мелко и ничтожно само по себе, а главное – неизмеримо ниже той чрезмерной высоты, на которой стоял Суворов по заслугам, признанным всем просвещенным миром! Невыразимо жестокие душевные муки причинила больному Суворову эта несправедливая опала, и он, без того тяжело страдая, *горько сожалел, что не умер в Италии...* Да, не на радость он ехал в Петербург!.. Все приготовления к торжественной встрече в столице были отменены. Многие из желавших встретить его тайно уехали в Стрельну. Здесь они приветствовали Суворова, остававшегося в дормезе, поднесли ему фрукты и цветы, поднимали детей для его благословения. Растроганный Суворов горячо благодарил приветствовавших. Но нужно было торопиться, так как приехать в Петербург, неведь почему, обязательно было именно в этот день. И вот заслуженнейший, прославленный и почтенный Европой русский полководец *тайно въехал* в свою столицу 20 апреля в 10 часов вечера, и медленно пробрался по улицам пустынной тогда Коломны в дом к одному из своих родственников на Крюковом канале.

Из дормеза Суворов непосредственно слез в постель. Но его, чуть не умиравшего от душевных и телесных страданий, ждало еще *новое* и тяжелое *оскорбление*. От имени государя явился генерал Долгоруков. Родственники Суворова, ввиду измученного его состояния, не допустили генерала к больному. Тогда посланный оставил записку, в которой говорилось, что

генералиссимусу не приказано являться к государю. Замечательно, что это передавалось *тому* именно, которого, “немедля ни мало”, звали в Петербург “на совет и на любовь”, которого, с другой стороны, все западноевропейские государства желали иметь своим полководцем...

Под влиянием всех этих обстоятельств болезнь Суворова, находившегося все время в *колебательном* состоянии, глядя по душевному его расположению, начала явно, систематически и быстро ухудшаться. Тяжелые душевные муки растравили старые, недолеченные раны: они раскрылись, стали переходить в гангрену, – и *исстрадавшийся* Суворов скончался 6 мая 1800 года.

Так было “оценено” и “отдано” ему давно обещанное “должное”. О смерти этого гениальнейшего полководца, бывшего гордостью и славой России, прославившего русское имя и в несколько раз возвеличившего политическое ее влияние и значение в ряду всех других государств, не было никакого заявления в печати. Но это только усугубило общественную скорбь по безвременной незаменимой утрате. В погребальной церемонии, происходившей 12 мая (тело было набальзамировано), гвардейские войска не участвовали. Отсутствовали также и люди, привыкшие кривить душой. Но это вовсе не помешало всему остальному Петербургу быть на похоронах Суворова, которые, по свидетельству очевидцев, имели характер *глубокого национального траура*. Процессия направлялась в Александро-Невскую лавру среди сплошной массы народа, плотно покрывавшего собою даже все крыши. На углу Невского и Большой Садовой находился Павел I с небольшою свитою. Когда приблизился гроб, он снял шляпу, – и “у него из глаз капали слезы”... Пропустивши процессию, он тихо возвратился во дворец, был грустен весь день, всю ночь не спал, и беспрестанно повторял: “*жаль*”...

При отпевании в лавре не было сказано надгробного слова. Но концерт (“Живый в помощи Вышнего”) был пропет так, что вся церковь плакала, и со стороны присутствовавших потребовались большие усилия, чтобы громко не разрыдаться, так как это *считалось опасным*... При погребении Суворова ему отданы были военные почести по чину фельдмаршала, хотя, как известно, он имел право и на большие почести....

Суворов так велик, что справедливо признавалось даже невозможным вознаградить его при жизни, – и величие это дает себя чувствовать даже и теперь, через сто лет после его смерти.

Примечания

1

отдельные части воинских укреплений (словарь В. Даля)

донесение начальника военного отряда о своих действиях

главнокомандующий турецкими войсками

инсурекия (*лат.*) — восстание.

Прага – предместье Варшавы, на правом берегу Вислы.

вереда – чирей, нарыв (словарь В. Даля)

В ПОВОЗКЕ